

*Светлой памяти Александра Александровича Зимина,
Натана Яковлевича Эйдельмана
посвящаю*

В.Б. Кобрин

КОМУ ТЫ ОПАСЕН, ИСТОРИК?

ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ

ПОЛЕЗНОЕ ЛЮБОПЫТСТВО И ЛЮБОПЫТНАЯ ПОЛЬЗА

Профессия – историк. Так мы пишем в соответствующей графе анкеты. Мы можем быть учителями средней школы, преподавателями высшей, научными сотрудниками НИИ и музеев, все равно, мы в первую очередь историки. Кто мы такие? Зачем мы нужны? Эти вопросы каждый из нас задает сам себе. Одна из попыток ответить – этот очерк. Сразу хочу предупредить: объективным быть не обещаю, ибо это невозможно. Можно только притвориться объективным. Нельзя остаться человеком, отказавшись от субъективности. Пишу только от своего имени, высказываю только свои мысли, хотя не исключаю, что во многом созвучные мыслям моих коллег. В таком случае рискую оказаться "типичным представителем". Что ж, заранее соглашаюсь.

Итак, я – историк. И, следовательно, нахожусь сегодня не в самом комфортном положении. Ибо в наши дни любят историю и не жалуют историков. Почему? Интерес к своему прошлому у

общества вырос неизмеримо. Люди вглядываются в него в поисках ответов на свои проклятые вопросы – кто виноват? что делать? – и страстно негодуют, когда не получают ответов. Или получают такие, которые их не убеждают. Или не устраивают. Хотят простых и недвусмысленных. Инженеру, привыкшему к надежному миру математических правил и строгих физических законов, кажется странным, что порой нет однозначной оценки явления или события, нет точно установленной юридической виновности или невиновности исторических деятелей.

Так что, вина историков мнимая? Разумеется, нет. И говорю об этом не только по привычке "признавать ошибки", перенятой нами от произносимого при исповеди "грешен, батюшка". Нет, ревностное служение идеологии, а чаще официально признанным идеологам и их "установкам", научные по виду сочинения, выводы которых легко угадать, прочитав лишь заголовок, учебники, вызывающие одновременно скуку, смех и негодование, – все это слишком хорошо известно и слишком широко распространено. Именно отсюда идет общественное убеждение: историк? да еще с ученой степенью? Значит, лгун. Пожалуй, наиболее резко и четко его высказал недавно писатель В. П. Астафьев: *"Историки в большинстве своем... не имеют права прикасаться к такому святому слову, как правда. Они потеряли это право своими деяниями, своим криводушием"* [1].

Пусть во многом нам достается поделом, но все же такая прямолинейная логика меня не устраивает. Почему? Открещиваюсь от вины, сохраняя душевный комфорт? Стремлюсь защитить коллег, которых знаю не только по книгам и статьям? (Ведь в милой застольной беседе авторы даже рептильных сочинений нередко бывают и остры умом, и смелы в суждениях, и доброжелательны к собеседнику или сотрапезнику; да и в служебных отношениях многие ведут себя порядочно.) Хочется думать, что дело в другом. Мне кажется, что в осуждении той или иной корпорации в целом (историков, экономистов, неформалов, врачей, кооператоров, аппаратчиков, бюрократов...) находит выражение принцип коллективной вины, который так дорого уже обошелся нашему народу. Ведь и раскулачивание, и, бессудные расправы с людьми, чье социальное происхождение не устраивало ревнителей классовой борьбы, и депортации целых народов были основаны на осуждении

не конкретных людей за конкретные поступки, а определенных групп людей в целом.

Вспомним, что еще А. И. Герцен в "Былом и думах", рассказывая о добром, человечном поступке жандармского офицера (уж в чем-чем, а в сочувствии жандармам Герцена не заподозришь!), писал: *"...ничего в мире не может быть ограниченнее и бесчеловечнее, как оптовые осуждения целых сословий по надписи, по нравственному каталогу, по главному характеру цеха"* [2] Всегда были честные историки. Им приходилось нелегко. Многие из написанного ими оставалось лежать в ящиках письменных столов или выходило в свет в искаленном виде, они платили за свою принципиальность испорченными нервами, служебными неудачами, подчас разрывом товарищеских отношений. И все же старались сохранить себя как ученых. Не добавляю – "честных". Ведь нечестный ученый – уже не ученый, какими бы академическими званиями он ни был украшен.

Есть прекрасная книга о труде историка. Удивительна прежде всего история ее создания. Ее автор – Марк Блок, капитан французской армии, участник двух мировых войн, один из самых крупных специалистов по истории средневековой Франции. Когда гитлеровцы захватили Францию, Блоку как еврею грозила смерть в концлагере. Тем не менее, он пренебрег лестными предложениями профессорских кафедр за рубежом и предпочел усугубить опасность для своей жизни: стал одним из организаторов движения Сопротивления. Но и в подполье ученый не мог прекратить творческого труда. Лишенный доступа к источникам, к библиотекам, он написал "Апологию истории", поэтическую книгу, объяснение в любви к своей науке. В 1944 году 58-летний капитан Марк Блок был схвачен оккупантами и после тяжелых пыток казнен. Но сохранились три папки с незаконченной рукописью, которые после войны попали в руки другу покойного – Люсьену Февру. Он и подготовил книгу к печати. Первая фраза книги такова: *"«Папа, объясни мне, зачем нужна история». Так однажды спросил у отца-историка мальчик, весьма мне близкий"* [3]. Должно быть, у каждого историка есть свой вариант ответа на этот вечный вопрос. С него и начну.

В самом деле. Мы прекрасно знаем, что без физики, химии и математики мы ездили бы на лошадях и волах, не имели бы холодильников, не смотрели бы кино и телевидение, переписывали бы от руки книги. Без астрономии и географии невозможны ни

мореплавание, ни сухопутные путешествия, а без биологии – медицина и сельское хозяйство. А история зачем? Что она дает нам материального? Ничего. *"Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать"* (Гумилев). И все же люди почему-то интересуются историей. Пусть нередко чисто внешней ее стороной: сколько было любовников у Екатерины II или жен у Ивана Грозного. М. Блок писал: *"...если даже считать, что история ни на что иное не пригодна, следовало бы все же сказать в ее защиту, что она увлекательна"* [4]. Да, мне кажется, что любопытство – уже достаточное основание для интереса к истории. Напрасно противопоставляют любопытство любознательности. Из бескорыстного любопытства выросла вся современная наука, шире – цивилизация. Недаром говорят, что наука – лучший способ удовлетворять свое любопытство за казенный счет.

И все же. Вряд ли стоило бы преподавать историю в школе, тратить деньги и силы на подготовку учителей истории в вузах, если бы она была только любопытной. Дело здесь, разумеется, сложнее.

Так в чем же польза истории? Говорят, в том, что она нас учит, дает примеры, образцы для подражания и наоборот. Так ли? Ведь, думается, прав был В. О. Ключевский, когда писал, что *"история не учительница, а надзирательница"*, что *"она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков"* [5]. Если бы люди извлекали опыт из истории, то вряд ли за первой мировой войной последовала вторая. Вряд ли после гитлеровского геноцида могли возникать повсюду (увы, и в нашей стране) разнообразные неонацистские организации: от немецких реваншистов до отечественной "Памяти". Вряд ли после страшных уроков сталинизма нашлись бы у нас Нины Андреевы и их единомышленники, не желающие поступиться принципами твердой тоталитарной руки.

В ранней юности я очень удивлялся, когда встречался с аморальностью людей, получивших среднее образование. Мне казалось непонятным, как может хамить, хулиганить, воровать человек, читавший Пушкина, Толстого, Чехова. Конечно, моя наивность была вызвана тем утилитарным подходом к "воспитательной функции" литературы, который усиленно вдалбливали нам (писатель – "инженер человеческих душ"). Это отношение к литературе точно изобразил Валентин Берестов:

*Литература
Опытною нянею
Использовалась
В целях начинания.
"Жил-был на свете
Петя-петушок.
Просился на горшок.
Иван-царевич
Спать ложился рано.
Бери пример
С царевича Ивана.
Вот на картинке
Дядя Геркулес.
Он в сахарницу
Пальцами не лез".
Когда подрос
Питомец этой няни.
Он написал
Немало всякой дряни.*

Впрямую учит только плохая литература. История тоже учит не впрямую. Она заставляет человека понять, что он – лишь звено в цепи поколений, но звено необходимое. Благодаря истории мы можем ощутить эту тесную связь поколений. Далекie эпохи вовсе не так уж далеки, как может показаться.

Я это понял тридцать с лишним лет тому назад, где-то в середине 50-х годов, когда прочитал небольшое газетное сообщение: человек, бывший в молодости личным секретарем Д. И. Менделеева, готовит к печати дневники великого химика. В этом факте еще не было ничего удивительного: от смерти Менделеева тогда прошло меньше 50 лет, и 75-летний человек вполне мог быть у него секретарем. Удивляло другое: из этих дневников следовало, что молодому Менделееву помог на первых порах декабрист И. И. Пущин. Друг Пушкина! Значит, и эта, пушкинская, эпоха не так уж далека?

Я начал размышлять. Вот студентом я как-то слушал лекцию уже очень старого академика Роберта Юрьевича Виппера. А ведь он, сокурсник известного лидера кадетов и историка П. Н. Милюкова, был студентом, когда в 1879 году умер С. М. Соловьев и начал читать лекции молодой В. О. Ключевский...

Говорят, между любыми двумя людьми на земном шаре насчитывается всего несколько "связок". Линию этих связок можно провести и в прошлое. Как-то я попытался подсчитать, сколько их между мной и Пушкиным. Вот эта линия. В детстве мне довелось знать Алексея Алексеевича Игнатьева. Граф, сын убитого революционерами важного сановника царской России, генерал старой армии, русский военный атташе во Франции во время первой мировой войны, Алексей Алексеевич стал генерал-лейтенантом Советской Армии и опубликовал свои мемуары – "Пятьдесят лет в строю". А. А. Игнатьев в молодости хорошо лично знал Александра III. Стало быть, с этим царем у меня одна связка – Игнатьев. Глава русской внешней политики государственный канцлер князь Горчаков ушел в отставку в 1882 году, через год после вступления Александра III на престол. Они были не просто знакомы, а общались постоянно. Итак, с Горчаковым, лицейским товарищем Пушкина, у меня две связки, значит, с Пушкиным – всего три. И снова приближается невыносимо далекое время.

Но дело не только в таких личностных нитях. Нас связывает с историей вся наша повседневность. *"Ведь только во сне твое сознание становится вне истории, и то лишь одно сознание, а твой грезящий аппарат остается в ее сфере, в области культуры"*, – писал Ключевский и доказывал свою мысль множеством примеров.

Вот один из них: *"Когда ты, бывало, сидел за своим письменным столом, торопливо составляя реферат профессору для зачета полугодия и помышляя тоскливо о пропущенной «Руслане и Людмиле», ни перед собой, ни в себе ты не мог бы найти предмета неисторического: бумага, перо, профессор, опера, самая тоска по ней, наконец, ты сам, как студент, зачитывающий полугодие – все это целые главы истории, которые тебе не читали в аудитории, но которые ты должен понимать на основании тебе читанного"* [6].

Итак, прошлое рядом снами, но не только в тех простых вещах, о которых писал Ключевский. Исторический путь, пройденный народом, неизбежно сказывается в настоящем. Так, режимы Гитлера и Муссолини были разными вариантами фашистской диктатуры. И дело было не в личных качествах диктаторов, а в разных исторических традициях Германии и Италии. В нынешних забастовках советских горняков мы узнаем традиции стачечной

борьбы российского пролетариата, а съезды народных депутатов порой печально напоминают нам сход крестьянской общины, которая исповедовала примитивное равенство и не любила тех, кто не похож на своих односельчан. Не оттуда ли, из глубины веков, "агрессивно-послушное большинство"?

Эти размышления не повод ни для шовинистического принижения одних народов и возвеличивания других, ни для фаталистического пессимизма. В традициях любого народа перемешаны добро со злом. Да те же общинные традиции не однозначно дурны: в них и взаимопомощь, и твердое сопротивление внешнему воздействию. Разум, здравый смысл людей могут одержать победу, в том числе и над тем дурным, что есть в исторической традиции. Особенно если на прошлое смотрят трезвым взглядом и извлекают из него уроки.

Не менее важно, что чувство истории, ее знание – одно из отличий человека от животного. Даже самая умная собака не интересуется историей своей породы.

Наше "я", наше самосознание основано на нашей личной памяти. Самосознание народа – на общности исторических воспоминаний, самосознание человечества – на общности всемирной истории. История – социальная память человечества, а историк – ее хранитель. Но должен он хранить подлинную историю, а не создавать мнимую.

Боже мой, как это нелегко! И прежде всего потому, что история, даже далекая, постоянно затрагивает чьи-то интересы, а порой и эмоции. Главная беда исторической науки, как мне кажется, в стремлении поставить ее на службу не истине, не извлечению уроков из прошлого, а идеологическим или политическим целям. И уже не имеет значения, грязны эти цели или благородны: все равно путь для фальсификации истории открыт. Ибо возникают две правды: удобная и неудобная. А историк, отстаивающий неудобную правду, воспринимается властями или (что еще хуже) обществом как враг, предатель, фальсификатор, в крайнем случае – как недоумок, который "льет воду" на какую-то не ту мельницу.

Мне рассказывал археолог в одной из наших республик, где в последние годы широко развернулось национальное движение, что его считают предателем своего народа. *"Я раскапываю поселение и вижу, что оно – раннеславянское, а от меня требуют, чтобы оно было обязательно..."* (не называю народа, ибо такое может произойти в любом месте). И точно так же от русского археолога

национал-романтики потребуют, чтобы поселение было славянским, а не угро-финским, не балтским, не скандинавским...

А сколько удивительных эмоций вызывает вопрос о происхождении народа. Почему-то очень многим хочется, чтобы их народ был автохтоном, то есть исконным насельником той территории, которую он сейчас занимает. Возникают споры, в которых эмоциональную и современную политическую окраску приобретают события VIII-IX веков, а то и рубежа нашей эры. Наш крупный историк академик Михаил Николаевич Тихомиров по этому поводу в свое время говорил: *"...я не вижу ничего обидного в том, что народ является не автохтонным. Можно ли так ставить вопрос: чем дольше он живет на таком-то месте, тем его история ценнее и выше?"* [7]

ПОД ПРЕССОМ ИДЕОЛОГИИ

Судьба советской исторической науки трагична. В сталинское время, пожалуй, не было науки, которая не испытала бы идеологического пресса. Но положение истории трагично вдвойне. Во-первых, как наука общественная, она подвергалась куда большему давлению, чем большинство наук (сравнимо лишь наступление на биологию). Во-вторых же, общество рассматривает биологов и физиков по преимуществу как жертв режима, а историков – как его слуг. А ведь историкам заламывали руки посильнее, да и к тому же крутили их поочередно в разные стороны.

Я учился на историческом факультете Московского университета в 1946-1951 годах. Не могу сказать, что эти годы были однозначно плохими. Ведь нам читали лекции и вели у нас семинары ученые, чьи труды определяли лицо науки: Михаил Николаевич Тихомиров и Сергей Данилович Сказки, Александр Иосифович Неусыхин и Артемий Владимирович Арциховский, Сергей Владимирович Бахрушин и Евгений Викторович Тарле, Всеволод Игоревич Авдиев и Лев Владимирович Черепнин... Каждый – яркая индивидуальность, со своим исследовательским почерком, со своим неповторимым стилем обучения. Но в те же годы и с кафедр, и с трибун собраний нам неустанно внушали, что советский историк – это в первую очередь большевистский пропагандист и агитатор. До нас доходили смутные слухи о том, что кое-кто из наших учителей побывал в тюрьме и ссылке, и вовсе не царской. И как я сейчас понимаю, уста их были свободны не вполне, их не мог не замыкать тот *"страх, что всем у изголовья лихая ставила пора"* (Твардовский). Ведь

идеологические проработки не прекращались ни на один год: они лишь меняли свою интенсивность и объекты, на которые были направлены.

В. О. Ключевский, говоря о дворцовых переворотах в России XVIII века, писал, что *"тогда в России дворец и крепость стояли рядом, поддерживая друг друга и обмениваясь жильцами"* [8]. В эпоху сталинских идеологических чисток нередко обменивались местами проработчики и прорабатываемые.

Попытаемся же проследить сложные извивы идеологических установок, кореживших нашу науку.

Я очень хорошо представляю себе, какую хлесткую разоблачительную статью можно было бы написать в 1949 году, в разгар кампании по "борьбе с космополитизмом" об одном авторе. Она звучала бы примерно так:

"Этот обнаглевший безродный космополит позволил себе дойти до гнусных и оскорбительных выпадов против великого русского народа, который товарищ Сталин назвал "руководящей силой Советского Союза" [9]. Он постарался забыть о замечательных победах великих русских полководцев Александра Невского, Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, Кузьмы Минина, Александра Суворова, Михаила Кутузова, наших "великих предков" (И. В. Сталин) и еще в 1931 году развязно разглагольствовал: "История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все – за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно... Они били и приговаривали: «ты убогая, бессильная» – стало быть, можно бить и грабить тебя безнаказанно" [10].

Впрочем, такая статья была невозможна, ибо нашего "безродного космополита" звали: Иосиф Виссарионович Сталин. То, что считалось истиной в последней инстанции в 1931 году, стало страшной крамолрой даже не в 1949 году, а гораздо раньше: во второй половине 30-х годов, когда в обиход были запущены новые идеологические клише. В 20-х же и в начале 30-х годов сверху еще

насаждались представления об абсолютной беспросветности прошлого.

Чтобы разобраться в том, что происходило, обратимся к ситуации в советской исторической науке тех времен. Подавляющее большинство ученых старой школы до конца 20-х годов продолжало более или менее спокойно работать в науке. От них пока не требовали признания марксизма-ленинизма единственно верным учением, выходили из печати их книги и статьи, не были закрыты для них и университетские кафедры. А тем временем молодые марксисты с юным жаром спорили о закономерностях развития общества и о том, насколько сделанные выводы соответствуют тем или иным высказываниям Маркса, Энгельса или Ленина (пока еще не Сталина!).

Сегодня с двойным чувством печали вчитываешься в отчеты об этих дискуссиях. Прежде всего, ужасно, что участники все время разоблачают друг друга, обвиняют то в меньшевизме, то еще в каком-нибудь "изме". О дискуссиях тех лет Владимир Васильевич Мавродин, профессор Ленинградского университета, а в то далекое время – аспирант, вспоминал, что "политические характеристики и политические обвинения самого серьезного характера предъявлялись друг другу всеми спорящими сторонами: попытки вести диспут даже с позиций, расценивавшихся как правильные, но в пределах научной терминологии, рассматривались как проявления "гнилого либерализма", "меньшевизма", "примиренчества" [12] Общественный строй Киевской Руси и даже Древней Греции оказывался полем политической битвы. Например, по поводу одной из работ античника С. И. Ковалева аспирант-комсомолец И. И. Смирнов, в будущем крупный ученый, писал: *"Попытка С. И. Ковалева может быть расценена как попытка теоретического разоружения пролетариата в его борьбе за завершение построения фундамента социалистической экономики"* [13] В острых поединках сталкивались не аргументы, основанные на фактах, извлеченных из источников, а тезисы.

И уже проникаешься искренним негодованием против этих бесцеремонных пришельцев в храм науки. Но вдруг вспоминаешь, что подавляющее большинство их ожидал мученический конец: в подвалах многочисленных лубянок, в гулаговских "мрачных пропастях земли". А те, кто уцелел, остались на всю остальную жизнь зараженными микробами страха. Да и были эти начинающие

марксисты еще совсем молодыми людьми, обычно из вполне благополучных до революции интеллигентских семей. Именно в огнепальном наступлении на ценности отцов "красные профессора" искренне видели возможность причаститься к рабочему классу, искупить то, что они считали своей виной: мирный достаток своих родителей, спокойную учебу в гимназиях, пока дети рабочих недоедали и редко имели возможность пойти дальше четырехклассного городского училища. Недаром поэтесса Вера Инбер в те же годы писала, что хотела бы дать объявление:

Меняю уютное, светлое, теплое.

Гармоничное прошлое с ванной –

*На тесный подвал с золотушными
стеклами,*

На соседство с гармонией пьяной.

Таким было мироощущение принявших революцию детей интеллигенции. Так не будем же слишком строгими судьями тех, кому было суждено остаться навсегда молодыми. Отвергая их действия, поостережемся спрашивать с них самих по всей строгости закона. Тем более что у них был наставник.

Итак, Михаил Николаевич Покровский. С фотографии на нас смотрит классическое лицо старого профессора: длинная седая борода, высокий, удлинённый лысиной лоб, очки, некоторая интеллигентская сутулость... Да и начало жизненного пути было, пожалуй, типичным для будущего профессора: сын статского советника, он после окончания Московского университета был "оставлен для приготовления к профессорскому званию" (то, что сейчас называется аспирантурой), преподавал на Высших женских курсах, печатался в обычных либеральных изданиях и даже вошел в типично "профессорский" Союз освобождения – ядро будущей кадетской партии.

Революция 1905 года прервала размеренное течение жизни тридцатисемилетнего приват-доцента: он вступает в большевистскую партию, работает в большевистской печати, участвует в 1907 году в V съезде РСДРП и входит кандидатом в ЦК. За границей, куда он был вынужден эмигрировать после поражения революции, Покровский написал пятитомный труд: "Русская история с древнейших времен". Здесь он попытался создать марксистскую схему отечественной истории. Вряд ли стоит

удивляться, что именно Покровский – единственный историк-профессионал среди большевиков – оказывается официальным главой уже советской исторической науки. Сколько постов он занимал одновременно! Заместитель наркома просвещения, президент Коммунистической академии, директор Института истории Комкадемии и Института красной профессуры, руководитель Центрархива, председатель Общества историков-марксистов, редактор сразу трех журналов: "Историк-марксист", "Красный архив" и "Борьба классов"...

Покровский был блестяще одаренным человеком: его работы написаны ярко и даже местами хлестко, читаются легко и с интересом, в них нередко чувствуется нестандартная живая мысль. Но он никогда не был строгим исследователем: начав как популяризатор, он сразу перешел к созданию концепций, широких обобщений. Да, он очень много прочел, очень много знал, но его эрудиция была эрудицией знатока, а не исследователя. Когда знакомишься с его трудами, возникает впечатление, что Покровский искал в трудах своих предшественников и в источниках факты, подтверждающие уже сложившиеся у историка концепции. Именно так открывался путь для того, чтобы историк стал не искателем истины, а слугой идеологии и тем самым перестал быть ученым.

"Русская история с древнейших времен" была задумана Покровским как полемический отклик на официально признанную университетскую науку начала XX века. Принужденный покинуть родину, погруженный в перипетии революционной и внутрипартийной борьбы, Покровский был заражен вирусом презрения к либералам, к людям, стремящимся к мирной эволюции страны, к тем, кто вел спокойный, размеренный образ жизни и из университетской аудитории шел в архив, а возвращался в уютную профессорскую квартиру. Врагами остались для Покровского ученые-немарксисты и после революции. В книгу, рассчитанную на самого широкого читателя, Покровский включил раздел историографии. Уже в самом названии чувствовался элемент пренебрежения к этим странным людям, не дошедшим до марксизма: "Как и кем писалась русская история до марксистов".

Говоря о взглядах дореволюционных ученых, Покровский писал, будто

"им нужно было доказать, что государство в России не было созданием господствующих классов и орудием угнетения всей

остальной народной массы, а представляло собою общие интересы всего народа, без различия классов. В основе "научной" теории лежала, таким образом, практическая потребность буржуазии. *Óíèâðñèðàðñèäý ìàòèà áúèà* (здесь и далее разрядка Покровского. – *Â.Ê.*) для этой последней *îïèè èç ñîñòîâà àñíîñòàà ìä ìàññàè*" [14]

Итак, по мнению Покровского (не на собственном ли опыте основанном?), историк выдвигает ту или иную концепцию не исходя из своего понимания фактов, а потому, что это "нужно". Недаром один из учеников Покровского писал: *"Ключевский – это представитель великорусского шовинизма, прежде всего ярый русификатор, представитель торговых группировок, кулацких группировок русской буржуазии"* [15] Помимо того, что утверждение о шовинизме Ключевского – явная ложь, не говоря и о том, что даже неловко всерьез опровергать глубокий вывод о Ключевском как представителе кулачества, в этом пассаже (уверяю читателя: это не случайная оговорка, а типичный образ мыслей партийного историка тех лет) поражает глубокое пренебрежение к великому ученому, почти детская уверенность в том, что именно им, молодым "красным профессорам", открыты все тайны истории, им и только им принадлежат все ключи от ее замков.

Такое умонастроение в сочетании с высокими постами Покровского и его людей открыло путь для прямых гонений на тех ученых, которые не захотели отказаться от своих научных взглядов. Так, в 1928 году Покровский писал буквально следующее: *"Во-первых, в нашей науке специалисту-немарксисту грош цена. А во-вторых, вы можете быть уверены, что если оный специалист вместо мягкой каши увидит перед собой твердый сомкнутый фронт, он сейчас же вспомнит, что еще его дедушка в 1800 г. был марксистом"* [16]

Покровскому вторил другой "марксист" – С. Н. Быковский. Говоря о тех, кто *"марксистски мыслить не может"*, он писал, что *"в их отношении должны быть применены методы более сильные, чем разъяснение и убеждение"* [17].

Итак, марксизм должно было внедрять насильственно. И внедряли. Вместо *"мягкой каши"* историки-немарксисты в 1930 году увидели *"перед собой твердый сомкнутый фронт"* следователей ГПУ. Именно тогда было грубо состряпано дело группы "буржуазных историков". Среди них большинство – специалисты по истории средневековой России. В тюремных камерах оказался цвет

отечественной исторической науки. Академики Сергей Федорович Платонов, Евгений Викторович Тарле, Матвей Кузьмич Любавский, Николай Петрович Лихачев, члены-корреспонденты Юрий Владимирович Готье, Алексей Иванович Яковлев (его не спасла и давняя близость к семье Ульяновых: Илья Николаевич был дружен с отцом Алексея Ивановича)... Здесь были и историки тогда еще среднего поколения: Михаил Дмитриевич Приселков, Сергей Владимирович Бахрушин, Борис Александрович Романов, Иван Александрович Голубцов, Александр Игнатьевич Андреев, Алексей Андреевич Новосельский, Иван Иванович Полосин, и совсем еще начинающие – такие, как будущий академик Лев Владимирович Черепнин... Всех перечислить невозможно. Это был настоящий погром.

Арест идейных противников вызвал ликование у членов Общества историков-марксистов. В своей резолюции они заявляли: *"Где кончается «несогласие с марксизмом» и начинается прямое вредительство, различить становится все менее и менее возможным. Каждого антимарксиста (великолепная логика: тот, кто не марксист, уже антимарксист! – А.Е.) приходится рассматривать как потенциального вредителя"* [18] А сам Покровский с палаческой иронией говорил: *"В дальнейшем нам уже не пришлось заниматься отечественными буржуазными историками, ибо наиболее крупные из них были уже разоблачены, а о других взяли на себя попечение соответствующие учреждения"* [19]

Впрочем, без врагов Покровский и его ученики жить не могли. После устранения из науки и ареста "буржуазных" ученых развернулась борьба с уклонами уже в своем лагере, столь же жестокая и крикливая. Научные дискуссии Покровский представлял себе исключительно как уничтожение (хотя бы моральное) оппонента. *"Если нам нужно ликвидировать кулака как класс, – писал он, – то нам надо ликвидировать и кулацкую идеологию, т. е. народническую, которая выродилась в кулацкую"*. Речь шла не только о бывших народниках, но и об историках-коммунистах, имевших неосторожность думать о народниках иначе, чем Покровский:

"...если человек встанет рядышком с представителем народнической идеологии в чистом виде и мы начнем этого представителя народнической идеологии дубасить (разрядка моя.

– *А.Е.*), то мы попадаем, конечно, и по тому, кто стоит рядом. Не стой рядом, не смущай публику, потому что если стоишь рядом, то у всякого получится впечатление, что ты ему друг и союзник".
Такому историку Покровский советует отойти в сторону или, еще лучше, перейти в его стан: "Потому что *íáéòðàëüíüõ îû òìæá áóäüì áèðü* (разрядка моя. – *А.Е.*)!" И в конце академик, чтобы не оставалось никаких кривотолков, подытоживает: "В этом смысл тех дискуссий, которые мы провели за последнее время" [20]

После этого становятся уже неудивительными те вздорные обвинения, которые предъявляли мирным ученым, проведшим свою жизнь между кафедрой, архивом и письменным столом. Например, некто А. Куршанак свою рецензию на книгу Ю. В. Готье назвал так: "Как разрабатывают буржуазные историки идеологию интервенции".
Никогда не угадаете даже приблизительно, как называлась книга, которой была посвящена эта "рецензия" (если можно так называть сочинения в жанре доноса): "Железный век в Восточной Европе".
Логика Куршанака настолько причудлива, что даже закрадывается мысль о злой пародии: раз ученый писал о культурном значении миграций и о роли норманнов в отечественной истории, то, стало быть, он зовет "новых норманнов" – интервентов [21].

Но главное, что вменялось в вину арестованным историкам, – русский великодержавный шовинизм и приверженность к монархии.
Что ж, М. К. Любавский, Н. П. Лихачев, С. Ф. Платонов были, судя по всему, действительно монархистами. М. К. Любавский был ректором Московского университета в годы правления одного из самых реакционных министров просвещения – Л. А. Кассо, когда многих либеральные профессора и доценты (в том числе и арестованные в 1930 году вместе с Любавским) покинули свою альма-матер в знак протеста. Отпрыск старинного дворянского рода, близкий к придворным кругам, Н. П. Лихачев тоже явно не был даже либералом. С. Ф. Платонов преподавал историю в царской семье, а в своей книге "Очерки истории смуты в Московском государстве" (труд, ставший классикой нашей науки, не потерявший своего значения и сегодня) как бы предупреждал монархию против грядущих "смут". С. Б. Веселовский, сам историк старой школы, прямо назвал монархической ту концепцию опричнины, с которой Платонов выступил в этой книге (правда, не только после смерти ученого, но уже тогда, когда платоновская концепция была принята

на вооружение сталинской наукой). Но от монархических убеждений до монархического заговора – дистанция огромного размера, а репрессированные ученые занимались только своей наукой.

Не миф и существование в царской России великодержавного шовинизма. Но, думается, шовинистами, людьми, ненавидящими другие народы, все же не были арестованные. Во всяком случае, в их работах мне встречались, быть может, некоторое преувеличение положительной роли государства, какие-то элементы "имперского сознания" (что и неудивительно: многие из них были близки к партии кадетов, которые мечтали о расширении границ России). Но неприязни к другим народам в их работах не было. Ни грана шовинизма я не встречал и у тех из них, более молодых, с которыми мне приходилось общаться в более поздние годы, – у И. И. Подосина, С. В. Бахрушина, А. А. Новосельского, Л. В. Черепнина.

Дело в другом. Борясь с шовинизмом, Покровский метнулся к другой крайности – национальному нигилизму. Вот его "Русская история в самом сжатом очерке", вышедшая только при жизни автора десятью изданиями. По этой книге учились в 20-х – начале 30-х годов все школьники и студенты. Что мог узнать из нее читатель, скажем, об Отечественной войне 1812 года? Из приложенных к книге "Синхронистических таблиц" – что это всего лишь "так называемая "Отечественная война", а из основного текста следующее:

"Дворянству и стоявшему за его спиной торговому капиталу, еще больше, конечно, недовольному прекращением английской торговли, в конце концов и удалось-таки добиться своего: в 1812 г. Россия вновь разорвала с Францией (а не наполеоновская Франция напала на Россию? – А.Е.), наполеоновская армия после своего последнего успеха – взятия Москвы – замерзла в русских снегах (а что делали такие полководцы, как Кутузов и Барклай? – А.Е.), против Наполеона образовалась новая, последняя, самая страшная коалиция, и английский промышленный капитализм мог наконец торжествовать полную победу" [22]

В своей же многотомной истории Покровский не пожалел сарказма для героев этой войны. Так, Багратиона он называет "хвастливым воином", "на которого в петербургских и московских салонах чуть не молились" [23]

Беда не в том, что один из историков полностью исключал национальный фактор из истории и сводил ее к развитию экономики и революционному движению. Когда в России в начале века выходили один за другим пять томов "Русской истории", написанной эмигрантом Покровским, одновременно печатались работы и историков других направлений: и либерального, и охранительного, черносотенного. Беда началась позже: когда взгляды одного историка – Покровского стали официальными и руководящими, единственно верными. Тогда и стала преследоваться всякая иная точка зрения как контрреволюционная и шовинистическая. Мне рассказывала Екатерина Николаевна Кушева, недавно скончавшаяся, один из старейших наших историков, что в 1927 году по обвинению в русском шовинизме был уволен из Саратовского университета ее учитель профессор Сергей Николаевич Чернов. Вся вина профессора состояла в том, что на лекциях он с симпатией говорил о Дмитрие Донском и победе на Куликовом поле. А вскоре С. Н. Чернов был арестован вместе с другими историками.

Хочу быть правильно понятым. Мне представляется, что и шовинизм, и национальный нигилизм в равной степени противопоказаны исторической науке. Пожалуй, именно здесь уместно изложить свою позицию, хотя бы и прервав нить рассуждений.

Можно попытаться сравнить историю как коллективную память народа с памятью индивидуальной. Кому из нас не приходилось встречать людей с избирательной памятью. Они обычно рассказывают собеседникам, как некогда успешно осадили своих зарвавшихся противников, как, бывало, страдали "за правду", как их хвалили начальники и подчиненные за честность и справедливость. Даже о своих недостатках они умеют говорить так, что слушатель понимает: речь идет о достоинствах. "Я, к сожалению, такой уж человек: ловчить не умею, что думаю, то и говорю. Моя открытая душа мне много бед приносит..." Кстати, врагов, да еще коварных, завистников у таких людей обычно особенно много. Как напоминает такая извращенная память другую "Память"!

Но есть и противоположный тип: человек, постоянно неуверенный в себе, гипертрофирующий свои недостатки, помнящий любой свой дурной поступок и не вспоминающий о хороших. Второй тип нам по-человечески более симпатичен. И все же: постоянная

саморефлексия, неуверенность лишают его возможности быть деятелем, борцом. Это человек несчастный.

Думается, и исторической памяти народа противопоказана избирательность; она должна хранить и гордые и печальные воспоминания, не порождать ни чувства превосходства над другими народами, ни чувства самоунижения.

В том ли патриотизм, чтобы не вспоминать о темных страницах отечественной истории и представлять ее как сплошную цепь побед и достижений? Многие думали и думают именно так. Полтора столетия тому назад один генерал, кстати отличившийся настоящей храбростью в Отечественной войне 1812 года, говорил:

*"Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно. Что же касается будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение. Вот... точка зрения, с которой русская история *αἰῶσιν ἀγνώστῃ* (разрядка моя. – *А.Е.*) рассматривается" [24]*

Звали генерала Александр Христофорович Бенкендорф, и занимал он, как известно, должность шефа жандармов. А в те же годы другой военный, правда куда меньший чином, написал горькие строки: *"Прощай, немая Россия, страна рабов, страна господ..."* Так кто же был настоящим патриотом – поручик Лермонтов или генерал Бенкендорф? (Помимо всего прочего поражает уверенность жандармского генерала в том, что он знает, с какой точки зрения *"русская история должна быть рассматривается"*!)

Увы, постепенно псевдопатриотизм бенкендорфовского толка стал превращаться в официальную доктрину. Но в 1930 году, когда Покровский и его молодые и рьяные ученики громили уже арестованных "буржуазных" историков, до такого поворота, казалось, не дойдет. На самом же деле до разгрома "школы Покровского" оставалось ждать недолго.

Сам М. Н. Покровский успел умереть в почете, в апреле 1932 года. Похороны красного академика состоялись на Красной площади, все газеты опубликовали сообщение ЦК ВКП(б), в котором покойного называли *"всемирно известным ученым-коммунистом, виднейшим организатором и руководителем нашего теоретического фронта, неустанным пропагандистом идей марксизма-ленинизма"*. Имя Покровского было присвоено Московскому университету и Московскому историко-архивному институту.

Прошло два года. 16 мая 1934 года появилось совместное Постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) о преподавании гражданской истории в школе [25]. На первый взгляд в нем не было ничего плохого. В самом деле, восстанавливались закрытые до того исторические факультеты университетов и педагогических институтов. А что дурного было в предписании преподавать историю "в живой, занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности" и отказаться наконец от подмены истории "отвлеченными социологическими схемами"? В первый момент многим показалось: наверху одумались, наконец в душную атмосферу проник свежий воздух. Но беда была в том, что это был декретированный свежий воздух. После команды "вольно!" очень скоро последовали, как обычно бывает в строю, новые команды: "смирно!", "равняйся!" и "кругом!".

Извивы нашей идеологической политики напоминают превосходный фильм Рене Клера, который я видел лет двадцать пять тому назад. Диктатор небольшой страны сошел с ума и потребовал от своих приближенных простоты и раскованности: галстуки запрещены, а министры ходят в одних трусах и на заседания кабинета приползают на четвереньках и лая. Но свершилось чудо: диктатор выздоровел, напрочь забыл о своих причудах, однако остался диктатором. И снова, как до болезни, он требует строгости в одежде и выгоняет лакея за косо завязанный галстук. Но один из министров, старец с седой бородой, оказался плохо информирован и ползет на заседание кабинета в нижнем белье, услужливо лая. Остальные шокированы и даже жалеют беднягу: "Тс-с! Теперь так уже не принято!" Да, приказания могут быть здравы и отменять нелепицу: лучше, чтобы министр ходил на двух ногах, носил брюки поверх трусов и не лаял. Но все равно – они приказания. А наука не может нормально жить по приказу. И если имеющий власть человек приказывает ходить на четвереньках и лаять, то вряд ли стоит его благодарить за отмену собственного приказа: ничто не помешает ему назавтра приказать ходить задом наперед и мяукать.

Такой характер, когда сегодня "принято" что-то одно (и только одно!), а завтра что-то другое, возможно, противоположное (но тоже только одно!), носило не только руководство наукой. (Написал и подумал: до чего привычной стала для нас эта нелепица: руководство наукой. Как можно наукой руководить?) Нет,

появились в печати "Замечания" Сталина, Кирова и Жданова. Школа Покровского в новом постановлении осуждалась уже столь же безоговорочно, сколь и неаргументированно.

"То обстоятельство, что авторы указанных учебников продолжают настаивать на неоднократно уже вскрытых партией и явно несостоятельных исторических определениях и установках, имеющих в своей основе известные ошибки Покровского, Совнарком и ЦК не могут не расценивать как свидетельство того, что среди некоторой части наших историков, особенно историков СССР, укоренились антимарксистские, антиленинские, по сути дела ликвидаторские, антинаучные взгляды на историческую науку".

И далее:

"Эти вредные тенденции и попытки ликвидации истории как науки связаны в первую очередь с распространением среди некоторых наших историков ошибочных исторических взглядов, свойственных так называемой "исторической школе Покровского".

В этих текстах обращает на себя внимание не только то, что здесь впервые в открытой печати были осуждены взгляды Покровского. Буквально каждое слово, каждое выражение этого постановления – яркое свидетельство того, какие представления о роли историка существовали у власть имущих. Из постановления следует, что именно партия, а точнее – Политбюро, определяет, какие воззрения на сущность феодализма и на восстание декабристов, на Киевскую Русь и на Смутное время являются научными, а какие – антинаучными. Настаивать же на уже "вскрытых" "определениях и установках" – непростительный грех. Но это текст, а подтекст еще интереснее.

Партия заблуждения историков "вскрывает": они, следовательно, либо сами не понимают, что пишут, а лидеры открывают им глаза, либо тщательно маскируют свое антиленинское нутро. Заняты же историки не исследованиями (этого просто не могут понять Сталин и его люди), а тем, что создают "определения" и, главное, "установки". Это последнее словечко – классика "новояза".

Откроем Даля: там "установка" определяется только как некое действие, например "установка мельницы". Зато вышедший в 1940 году Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова дает уже новые значения, в том числе: "Принципы, директива, руководящее указание" с пометой "нов." и приводит

пример: "Центр дал новые установки для составления плана" [26]. Итак, на основе "установок" партии историк-ученый (или, во всяком случае, автор учебника) дает, в свою очередь, "установки" всей массе учителей.

Увы, установка на установки оказалась удивительно живучей в общественном сознании. Сколько раз я терялся, не зная, как ответить на вопрос из аудитории: "А какова официальная точка зрения на...?" (Ивана Грозного, Ивана Калиту, Лжедмитрия...) Как часто слышишь требования учителей: "Дайте нам четкие указания, как преподавать. А то в одних статьях читаешь одно, в других – другое". Насильственное внедрение установок привело сегодня к тоске по установкам.

И еще один момент. В постановлении говорится об *"известных ошибках Покровского"*. Кому они известны? Где о них говорилось? Не те ли же люди, которые принимали постановление, всего четыре года тому назад санкционировали сообщение ЦК ВКП(б) о смерти выдающегося ученого-марксиста, провожали его в последний путь на Красной площади? Ведь на траурном митинге присутствовали Сталин, Молотов, Ворошилов, Калинин, Андреев... Если взгляды покойного были антиленинскими, то не виновны ли в том, что они не были "вскрыты" до сих пор, члены ЦК, а не историки – ученики Покровского? Попробовал бы еще в 1932 году кто-нибудь из историков – членов партии сказать о Покровском десятую долю того, что теперь писал о нем ЦК: в лучшем случае он был бы исключен из партии с клеймом врага ленинизма. Да, вчера было принято одно, сегодня – другое.

Прошло немного времени, и носители "антиленинских" взглядов один за другим попадают в тюремные камеры, а затем одни погибают под пулями энкаведешных палачей, другие – в лагерях. Их уцелевшие коллеги писали о них так:

"Прикрываясь антиленинскими взглядами М. Н. Покровского, многие представители этой «школы», ныне разоблаченные троцкистско-бухаринские наймиты фашизма, разваливали исторический фронт, ведя вредительскую и контрреволюционную работу в научных учреждениях...",

*"Так называемая «школа Покровского» не случайно оказалась **ааѳіе** (курсив подлинника. – **А.Е.**) для вредительства со стороны врагов народа, разоблаченных органами НКВД, троцкистско-бухаринских наймитов фашизма, вредителей, шпионов и*

*террористов, ловко маскирующихся при помощи вредных, антиленинских исторических концепций М. Н. Покровского",
"...оголтелая банда врагов ленинизма долго и безнаказанно проводила вредительскую работу в области истории" [27] .*

14 ноября 1938 года – новое Постановление ЦК ВКП(б) "О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском "Краткого курса истории ВКП(б)":

"В исторической науке до последнего времени антимарксистские извращения и вульгаризаторство были связаны с так называемой «школой» Покровского..."

Тогда же появился удивительный двухтомник: две его части носили похожие, но не одинаковые названия: первая – "Против исторической концепции М. Н. Покровского" (1939), вторая – "Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского" (1940). Интересен состав авторов. Здесь и чудом уцелевшие ученики Покровского, предающие анафеме своего учителя: будущие академики А. М. Панкратова и М. В. Нечкина, А. Л. Сидоров, и вернувшиеся недавно из ссылки С. В. Бахрушин, В. И. Пичета, А. Н. Насонов, и случайно оставшиеся на свободе ученые старой школы К. В. Базилевич, С. В. Юшков... Особняком среди авторов стоит академик Борис Дмитриевич Греков.

Историк старой школы (1917 год он встретил 35-летним приват-доцентом Петербургского университета), отпрыск старого казачьего дворянского рода, Борис Дмитриевич, естественно, не был в восторге от революции и в 1918 году оказался в Крыму, занятом войсками белых. Однако он не сел на пароход, увозивший белогвардейцев в Турцию, а в 1921 году вернулся в Петроград. Неблагодарное занятие гадать о внутренних мотивах деятельности человека. Но не может не насторожить та быстрота, с которой Греков адаптируется к новым условиям жизни. Уже в 1926 году он становится депутатом Ленинградского Совета. Его почти не затронули репрессии 1930 года (он был арестован, но еще в ходе следствия признан невиновным и освобожден), а в 1932 году профессор Греков уже выступает как основной докладчик на научной сессии, посвященной общественному строю Древнерусского государства: "Рабство и феодализм в Киевской Руси". В этом докладе Греков уже не в первый раз клянется в верности марксизму. Недаром М. Н. Покровский снисходительно поощрил Грекова, видя в его (и другого крупного ученого –

А. Е. Преснякова) трудах показатель *"стихийной тяги к марксизму русских историков буржуазного происхождения"* [28]

Возможно, именно этому сочетанию: профессионализма, идущего от старой школы, официального принятия марксизма и отсутствия прямых связей со школой Покровского Греков был обязан своим неожиданным взлетом: в 1934 году он избирается членом-корреспондентом АН СССР, уже на будущий год – академиком, а после ареста в 1937 году старого большевика Н. М. Лукина возглавляет Институт истории АН СССР. Впоследствии Б. Д. Греков был директором Института славяноведения (не оставляя директорства в Институте истории), академиком-секретарем Отделения истории АН СССР, депутатом Верховного Совета РСФСР...

В трудах Б. Д. Грекова сегодняшнего читателя поражает сочетание широкой эрудиции и высокой профессиональной культуры со схематизмом выводов, точно укладывающихся в прокрустово ложе формационного учения в том виде, в каком оно было изложено в "Кратком курсе истории ВКП (б)". Один историк, работавший в довоенные годы под руководством Б. Д. Грекова, однажды рассказал мне, как Б. Д. спрашивал его наедине:

- Вы же партийный, посоветуйте. Вы должны знать, какая концепция понравится **Ему**.

И показывал на портрет Сталина, висевший на стене кабинета. Прав был Леонид Мартынов: *"Из смирения не пишутся стихотворения"*. И научные труды тоже.

Не потому ли большинство концепций Б. Д. Грекова не принимает сегодняшняя историческая наука?

Но вернемся к сборнику. Надо сказать, что две ученицы Покровского – Анна Михайловна Панкратова и Милица Васильевна Нечкина, разоблачая, как было приказано, своего учителя, все же постарались смягчить посмертный удар. Так, А. М. Панкратова постоянно отделяет личность Покровского от его взглядов, а деятельность его самого от деятельности его учеников – "лжеисториков", которые *"под флагом теоретических и исторических «дискуссий»... нередко протаскивали прямую троцкистскую контрабанду"*.

Панкратова не отрекается от своего учителя, когда пишет, что *"критика концепции М. Н. Покровского и его исторических взглядов для его бывших учеников должна быть и **наïfêdèdèèîé"***

(курсив Панкратовой. – *А.Е.*), и в сноске даже честно ссылается на собственную статью "М. Н. Покровский – большевистский ученый", опубликованную в 1932 году. Она не раз подчеркивает, что Покровский после революции *"стал пѣааòñêè"* (курсив Панкратовой . – *А.Е.*) *ученым, одним из организаторов советского просвещения и советской науки*", что, порвав в 1918 году с "левыми коммунистами", Покровский *"остался верен делу социалистической революции"*. А. М. Панкратова даже решилась признать отдельные научные заслуги Покровского:

"Многие общепринятые в буржуазной науке точки зрения М. Н. Покровский оспорил, в другие внес важные дополнения и поправки, некоторые вопросы вообще разработал впервые... Плодотворным для дальнейшего изучения русской истории было и то, что в "Русской истории" Покровского резче, чем раньше, ставились вопросы классовой борьбы".

Вина Покровского, по мнению его ученицы, состояла не в злонамеренности, а в том, что, хотя *"в последние годы своей жизни он стал частично на путь самокритики своих прошлых ошибок и своих исторических взглядов"*, этот процесс остался незаконченным, ибо *"он слабо работал "нылесосом" и недостаточно "проветривал" все уголки своего мировоззрения"* [29]

В отличие от Панкратовой М. В. Нечкина предпочла не припоминать, что училась у Покровского, но, по крайней мере, в одной из двух статей (в сборнике ее перу принадлежат две) рискнула написать, что Покровский впервые поставил вопрос о *"влиянии восстания Пугачева на последующую политику правительства"*, и добавить: *"Это является его заслугой"* [30]

Но все же эти ученицы Покровского, как и другие авторы сборника, главной своей задачей поставили показать не только ошибочность, но и политическую вредность взглядов Покровского. Что ж, он мог бы гордиться своими учениками, они хорошо усвоили его основные уроки: история – наука политическая, партийная, а указания ЦК по научным вопросам должно выполнять, как приказы командира на фронте. Недаром он чаще говорил *"исторический фронт"*, чем *"историческая наука"*.

На первый взгляд еще более печальное впечатление производят статьи тех ученых старой школы, которых еще несколько лет тому назад предавали анафеме, а то и сажали. Неужели они не испытывали чувства неловкости за то, что им удалось взять реванш

при помощи тех же методов, которые применялись против них? Неужели никто из них не понимал, что он пляшет радостный танец на костях поверженных врагов? Что научная дискуссия снова завершится в тюремной камере?

Нет, не берусь судить этих людей. Не только потому, что у многих из них учился и сохранил о них благодарную память. Хотя и это важно.

Из авторов этого сборника я лучше других знал Сергея Владимировича Бахрушина и его ученика Константина Васильевича Базилевича. С К. В. Базилевичем я встретился еще школьником, когда он пришел к нам, в исторический кружок Московского дома пионеров. Потом первокурсником слушал его лекции, два года занимался в его семинаре, побывал и у него дома. Это был высокий, красивый, элегантный человек с офицерской выправкой: К. В. кончил Киевский кадетский корпус, был кадровым офицером старой армии. В первую мировую войну он командовал батареей, получил несколько высоких боевых наград. Еще до 1914 года он был летчиком-спортсменом, а в войну, говорят, и военным летчиком. Историю К. В. любил с детства, увлекался ею еще кадетом, и после революции в возрасте 26 лет поступил в Московский университет. Он умер скоропостижно, 58-летним, в 1950 году, и через два года вышла из печати его до сих пор не потерявшая научного значения монография о внешней политике России второй половины XV века. Судьба пощадила Базилевича: он не был арестован лишь благодаря тому, что за несколько лет до разгрома "буржуазных" историков ушел из исторической науки, а вернулся туда только после 1934 года.

Через неделю после смерти Базилевича умер его университетский учитель С. В. Бахрушин. Именно Базилевич представил меня, 13-летнего школьника, Сергею Владимировичу. Лекции Бахрушина, которые мы слушали на первом курсе, остались одним из самых ярких воспоминаний нашей студенческой жизни. Но подчеркиваю: дело не только в личных пристрастиях. И не в том, что труды и С. В. Бахрушина, и К. В. Базилевича, и многих других авторов этого малопривлекательного сборника до сих пор живут в науке.

Нужно понять психологию этих людей. Одни из них только что вернулись из ссылки, не реабилитированные, а лишь помилованные. Другие понимали, что лишь чудом избежали ареста. Они хорошо знали, что времена репрессий не миновали. Напротив, на их глазах

разворачивалась трагедия 37-го года. Им было ясно, что путь назад, причем не обязательно в ссылку, а и в лагерь, им не заказан. Старая пословица, советующая не отказываться от тюрьмы, никогда не была так актуальна, как в те годы.

Но и к страху не сведешь мотивы их действий. Вчера они еще были гонимы, а каждое слово, сказанное или написанное ими, трактовалось как улика. Сегодня их бывшие гонители осуждены и прокляты. Вчера еще было опасно сказать, что в старой России не все было плохо, что не только звон цепей и свист кнута характеризовали ее жизнь. Сегодня уже говорят и пишут об исторических заслугах русского народа, а их умаление становится "вражеской вылазкой".

Недаром Б. Д. Греков в заключительной части своей статьи в сборнике обвинял Покровского в том, что он *"сыграл на руку тем, кто хотел видеть в России варварскую страну, создающуюся где-то на варварском северо-востоке, не имеющую права включиться в число европейских государств"*. И приходил к выводу: *"Отрицание факта существования Киевского государства (на самом деле Покровский лишь разошелся с Грековым по вопросу о характере государственной власти в Киевской Руси. – А.Е.) лишает нас сильного оружия в борьбе с извращениями прошлого народов нашего Союза"* [31].

Конечно, многим авторам сборника было понятно, что это уже перехлест, что та или иная оценка социального и политического строя Руси IX-XII веков не может быть "на руку" или не "на руку" неким "врагам", что, во всяком случае, не от того, кто может использовать исторические факты в своих целях, зависит историческая истина. Но эти преувеличения казались несущественными, извинительными по сравнению с тем походом против всего национального, который был развернут Покровским и его учениками всего лишь несколько лет тому назад.

Да и можно ли было не радоваться тому, что из бесправных политических ссыльных они сами теперь превратились в почтенных и уважаемых профессоров, за статьями которых охотятся редакции, чьим словам внимают студенты... Мой научный руководитель по аспирантуре Валентин Николаевич Бочкарев, ученик Ключевского, арестованный по тому же делу историков, но отделавшийся лишь несколькими месяцами тюремного заключения ("За меня заступилась Вера Николаевна Фигнер, соседка моей матушки по

имению", – вспоминал он), рассказывал мне, как после разгрома школы Покровского его наперебой приглашали разные вузы страны, даже из Средней Азии. "Нам такие люди, как вы, сейчас особенно нужны", – говорили ему.

Трудно отказаться от реванша, трудно не порадоваться посрамлению тех, кто некогда лишил тебя доброго имени и отправил в тюрьму. И люди, великолепно знавшие историю, в том числе распространенность известного мифа о добром царе и дурных боярах, легко дали себя уговорить, что дурные бояре сгнули в 1937-1938 годах, а добрый царь – великий и мудрый товарищ Сталин восстановил попранную справедливость. Недаром, когда умер С. В. Бахрушин (через 20 лет после ареста), то хоронили академика Академии педагогических наук, члена-корреспондента АН СССР, лауреата Сталинской премии, заслуженного деятеля науки РСФСР, награжденного орденом Трудового Красного Знамени и медалями, руководителя сектора в ведущем научном учреждении – Институте истории АН СССР.

Так что же не устроило Сталина в покорном Покровском и его учениках? Думается, прав американский историк Дж. Энтин, когда возражает против мнения, что *"Покровский символизирует противостояние Сталину"*. Энтин прав и когда подчеркивает, что и Сталин и Покровский *"придерживались взгляда, что наука в правильном понимании является боевым оружием в политической борьбе"*, что от Покровского *"Сталин умел добиваться... худшего, на что он был способен"*. Показал Энтин и роль, которую сыграли в ниспровержении Покровского Ярославский и Каганович [32].

Несколько слов о них. Емельян Ярославский – одна из самых мрачных фигур в истории отечественной культуры. И не только культуры. Наследственный революционер (Ярославский родился в Чите в семье политического ссыльного), он был членом социал-демократической партии с основания и после ее раскола сразу же примкнул к большевикам. После революции у него были три основные области деятельности. Во-первых, он стал одним из основателей и руководителей Союза воинствующих безбожников, так сказать, главным атеистом страны. Его книги, статьи, выступления на антирелигиозные темы пронизаны духом нетерпимости; он не спорит с религией, а высмеивает ее и унижает как верующих, так и служителей церкви.

Современные ревнителю почвенничества легко могли бы сконструировать (и конструируют) удобную для них схему: еврей Ярославский (Губельман) травит христиан. Боюсь их огорчить: к иудейской религии неистовый Емельян относился не лучше, а его "Библия для верующих и неверующих" – это дурно пахнущее издевательство над священной книгой и иудаизма и христианства. Вторая ипостась Ярославского – один из руководителей Центральной Контрольной Комиссии, а потом – Комитета партийного контроля. В этом качестве он штамповал исключения из партии "врагов народа" и их родственников и друзей.

Но здесь нас интересует третья сфера деятельности Ярославского – история партии. Хотя после выхода в свет "Краткого курса истории ВКП (б)", в написании которого он активно участвовал, его авторские сочинения были фактически запрещены ("Краткий курс" стал единственной канонической историей партии), в становлении сталинской концепции истории партии он сыграл одну из ведущих ролей. До конца своих дней Ярославский был влиятельным и почитаемым сановником: академик с 1939 года, руководитель лекторской группы ЦК ВКП (б) и кафедры истории партии Высшей партийной школы, депутат Верховного Совета СССР, член ЦК... В конце 1943 года его торжественно хоронили на Красной площади. Сегодня труды "академика Ярославского" прочно забыты.

Л. М. Каганович известен достаточно хорошо. Вызывает лишь удивление, почему из всех членов сталинского Политбюро именно ему было поручено выступить в 1931 году с докладом, опубликованным в "Правде": "За большевистское изучение истории партии". Ведь ни до, ни после Каганович не претендовал на роль теоретика: крепкий организатор, "железный нарком", безжалостный руководитель партийных чисток, арестов местных руководителей... Но не историк.

И все же, думается, дело было не в Ярославском (для него Покровский и его ученики были соперниками) и не в Кагановиче, лишь выполнявшем приказ вождя. Все гораздо глубже. Во-первых, Покровский и его ученики никогда не рассматривали Сталина как четвертого классика марксизма-ленинизма, не вводили его сочинения в корпус своего священного писания. Восхваляя Сталина как вождя партии, как мудрого руководителя, они в своих теоретических спорах не приводили цитат из его произведений. Но это была не такая уж беда: научились бы. Тем более что те из

учеников Покровского, которым было дозволено покаяться и остаться в исторической науке, стали цитировать Сталина исправно. Как, впрочем, и все остальные: иначе работа просто не вышла бы в свет.

Кстати, о цитировании. Сделать любое высказывание Сталина основополагающим – особое умение, в котором порой доходили до мастерства. Приведу один пример из книги, вышедшей уже после смерти Сталина, но готовившейся к печати еще при его жизни:

"Подлинно научная оценка значения татаро-монгольского завоевания для Руси и борьбы русского народа против ига татаро-монгольских феодалов дана классиками марксизма-ленинизма. Их указаниями опровергается ложный тезис дворянско-буржуазной историографии (указаниями, оказывается, можно опровергнуть тезис! – А.Е.) о прогрессивности татаро-монгольского владычества.

Глубокую оценку отрицательного значения татаро-монгольского ига для русского народа дал И.В.Сталин в связи с характеристикой нашествия австро-германских империалистов на Украину в 1918 году. «Империалисты Австрии и Германии, – писал И. В. Сталин, – несут на своих штыках новое, позорное иго, которое ничуть не лучше старого, татарского»" [33]

Но была еще одна, куда более существенная причина осуждения Покровского. Его концепции не соответствовали новой идеологической ситуации. С середины 30-х годов правительственная пропаганда делает поворот – от мессианства ("мировая революция") к имперскости ("великий русский народ"). Прославление "ленинско-сталинской дружбы народов нашей страны" на практике сочеталось с неумеренным восхвалением одного народа как "старшего брата" и тем самым унижением других народов. Колониальную политику царизма, захватнические войны, освободительные движения народов СССР начинали постепенно замалчивать, а Советский Союз все чаще стал выступать как наследник старой России. Кульминацией такой пропаганды, было время Великой Отечественной войны. С одной стороны, пресса и радио говорили об участии в защите Родины воинов всех национальностей, с другой – о подвиге именно русского солдата.

В выступлении на Красной площади 7 ноября 1941 года Сталин призвал советских воинов вдохновляться образами великих предков и перечислил исключительно русских полководцев – от Александра

Невского до Кутузова. Ни украинские, ни грузинские, ни армянские, ни какие бы то ни было другие *"великие предки"* названы не были. А накануне, 6 ноября, выступая с докладом о годовщине Октябрьской революции, Сталин опять-таки говорил о *"нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова"* [34], то есть только о деятелях русской культуры. В переписке с Рузвельтом и Черчиллем во время войны Сталин не случайно не раз писал о "русской", а не о "советской" точке зрения.

Такая смена вех была вызвана несколькими причинами. Сыграло, несомненно, определенную роль стремление Сталина накануне войны в условиях, когда стало ясно, что мировая революция не состоится, избрать в качестве объединяющей народ идеи патриотизм, а не мессианизм. В этом есть свой резон. Но все же остается сомнение, правильный ли путь к сердцам людей избрал главный специалист по национальному вопросу. "Великому русскому народу" кадили фимиами, льстили его национальному чувству, надеясь, что он сможет забыть и простить ужасы коллективизации и раскулачивания, голода начала 30-х годов, жестокие расправы с людьми, тотальную слежку, короче – террор. Национальные же чувства других народов страны, не удостоившихся эпитета "великий", диктатор игнорировал.

Думается, не националистическая пропаганда, а реальное понимание смертельной опасности, надвинувшейся на всю многонациональную страну, ненависть к гитлеровцам, для которых все народы нашей страны были "низшей расой", объединили народы Советского Союза, которые и сумели вместе разгромить гитлеровскую Германию.

Для Сталина же не менее существенной была ставка на установление преемственности между царской Россией и своим режимом. Ему импонировали и самодержавие, и, особенно, наивный монархизм масс, обожествление государя. Недаром вождю понравилась книга Е. В. Тарле "Наполеон" о революционном генерале, ставшем *"императором Французской республики"*. Не скрывавший, несмотря на множество оговорок, своего преклонения перед сильной личностью французского диктатора, академик Тарле был не только прощен, но стал одним из самых влиятельных советских историков. Хорошо помню его на кафедре – в пиджаке,

украшенном несколькими медалями лауреата Сталинской премии. (И все же потом, в конце 40-х годов, и Тарле стал мишенью для проработки: во-первых, еврейская фамилия звучала теперь одиозно, а во-вторых, тот самый Тарле, которого в 1930 году обвиняли в русском шовинизме, теперь оказался недостаточно националистичен: ныне Наполеона надлежало изображать только при помощи черной краски.)

Приверженность Сталина к формам жизни его молодости объяснялась не только старческой ностальгией, хотя и этот момент нельзя сбросить со счетов. Сталин планомерно использовал для целей административно-командной системы опыт аппарата самодержавия. Нет, не случайно именно в 40-е годы красные командиры превращаются в офицеров и генералов, а наркомы в министров, на плечах военных, железнодорожников, юристов и даже дипломатов появляются погоны (а ведь совсем недавно в ходу было презрительное "золотопогонник"!), форма одежды в армии и флоте начинает подозрительно напоминать царскую, а суворовское училище в 1943 году предписывается создавать по образцу кадетских корпусов...

В послевоенные годы шовинистическая кампания усилилась. В учебниках, выпущенных до войны, честно писали о завоевательной политике царского правительства. Правда, еще в конце 30-х годов стали говорить, что завоевание Россией было для народов окраин Российской империи *"наименьшим злом"*. В этом утверждении иногда была и доля истины. Но только иногда. Теперь же, пусть и наименьшее, но зло было оставлено, а в ход была пущена универсальная и в большинстве случаев лживая формула *"добровольное присоединение"*. Народные движения, направленные против царского колониализма, стали рассматривать как антирусские и реакционные.

Пожалуй, самым ярким примером такой фальсификации истории была оценка борьбы горцев Кавказа под руководством Шамиля. В тех учебниках истории, по которым я учился в школе, Шамиль изображался как герой без страха и упрека (что было тоже преувеличением), вождь освободительной борьбы (что было правдой). Но вот в 1950 году наступает внезапный и резкий поворот. Азербайджанский ученый Г. Гусейнов, получивший Сталинскую премию за книгу по истории азербайджанской философии, был ее лишен через несколько месяцев, поскольку в своей монографии

положительно писал о Шамиле. Вслед за тем в журнале "Большевик" (ныне – "Коммунист") появилась статья первого секретаря ЦК КП(б) Азербайджана М. Д. Багирова (впоследствии расстрелянного как сообщник Берия), в которой утверждалось, что Шамиль был агентом Англии и Турции [35]. Тем самым одновременно оправдывалось преступное выселение с Кавказа чеченцев, ингушей, балкарцев и карачаевцев. Тут же многие историки начали молниеносную перестройку. С. К. Бушуев, защитивший в свое время кандидатскую и докторскую диссертации об освободительном движении Шамиля, выпустивший на эту тему книгу (ее, кстати, осудил в своей статье Багиров), начал страстно разоблачать Шамиля и *"реакционную сущность мюридизма"* *.

* Воины Шамиля, имама, духовного главы мусульман Кавказа, считались его мюридами, то есть учениками.

(Когда в 1956-1957 годах на волне XX съезда был поднят вопрос о возвращении к оценке движения Шамиля как национально-освободительного, то именно Бушуев сопротивлялся больше всех.)

В 1949 году развернулась борьба с "космополитизмом". Началась она редакционной статьей "Правды" "Об одной антипатриотической группе критиков": речь шла о тех, кому не понравились откровенно бездарные пьесы А. Сурова и А. Софронова. А вскоре "безродных космополитов" и "антипатриотов" начали выискивать и "разоблачать" повсюду. Слово "космополит" эвфемистически заменяло слово "жид". Хорошо помню ход этой кампании на историческом факультете МГУ, где я тогда был студентом. Как сейчас вижу факультетскую стенгазету с карикатурами на профессоров и доцентов факультета, со статьей доцента М. И. Стишова "Главарь космополитов", посвященной академику И. И. Минцу, заведовавшему кафедрой истории СССР.

О стиле обвинений дает представление текст из журнала "Вопросы истории" за 1949 год:

"Историческая наука является одним из участков идеологического фронта, на котором кучка безродных космополитов пыталась вести свою вредную работу, распространяя антипатриотические взгляды при освещении вопросов истории нашей Родины и других стран" [36].

Разумеется, главный удар пришелся по историкам, занимавшимся советским периодом и новейшей историей. Но пострадали и другие, например Николай Леонидович Рубинштейн. Это был человек

большого таланта, один из тех немногих, читая труды которых ощущаешь личность автора. Его перу принадлежат фундаментальные и острые работы по социально-экономической истории России XVIII века. Но мишенью для нападок стала его вышедшая еще перед войной книга "Русская историография", первая обобщающая советская работа по истории русской исторической науки. Даже сегодня, хотя с момента выхода книги Н. Л. Рубинштейна прошло уже полвека, она не потеряла значения. Отчет же о "проработке" в "Вопросах истории" сообщал:

"Н. Л. Рубинштейн пишет, что историческая наука в России не существовала как самостоятельная наука. Основоположниками исторической науки в России он считает немцев Миллера, Байера, Шлецера и др. Н. Л. Рубинштейн принижает русскую культуру, заявляя, что она плелась в хвосте восточной и западноевропейской. Он принижает марксистскую историческую науку перед буржуазной".

"Порочные буржуазно-объективистские взгляды проф. Рубинштейна неоднократно подвергались критике, однако он вновь счел необходимым изложить свою политически ошибочную концепцию на теоретической конференции аспирантов кафедры истории СССР МГУ".

Эти пассажи своим стилем говорят сами за себя, но все же нуждаются в некоторых комментариях. Разумеется, Н. Л. Рубинштейн не утверждал, что русской исторической науки до XVIII века не было, он лишь отмечал, что она тогда еще не выделилась в самостоятельную область научного знания, что совершенно справедливо. Рубинштейн подробно характеризовал таких русских историков XVIII века, как Татищев, Щербатов, Болтин, писал и о других. Но он отмечал и заслуги занимавшихся русской историей немецких ученых, подчеркивал, что они принесли с собой в Россию богатый опыт европейского источниковедения. Что же касается выступления на теоретической конференции, то, вероятно, речь идет о том, что, поскольку еще до кампании против космополитизма книга Рубинштейна подвергалась нападкам, Николай Леонидович был вынужден выступить с признанием ошибок, но не стал зачеркивать свой труд целиком.

Вынужденная самокритика не помогла и на сей раз.

"Профессор Н. Л. Рубинштейн, – читаем в том же отчете, – в своем выступлении сделал попытку признать свои космополитические

антипатриотические ошибки... но сделал это непоследовательно. Он заявил, что взялся за работу, которая ему не под силу, он не только не сумел по-ленински переработать наследство буржуазной историографии, но, наоборот, сам оказался в плену у нее... Таким образом, всю свою многолетнюю порочную практику в научной и педагогической деятельности проф. Рубинштейн свел не только к отдельным «грубым ошибкам» объективистского характера, тогда как на самом деле его пороки коренятся не в отдельных ошибках, а в законченной системе взглядов, в концепции, чуждой марксизму-ленинизму".

Разумеется, трагична судьба ученого, безвинно подвергнутого публичному поношению. Но беда не только в этом. Дело в общем климате жизни в науке. Как отзывались все эти события на судьбе научной молодежи! От студентов и аспирантов требовали отмежевываться от своих учителей. Помню одного студента, ученика Н. Л. Рубинштейна. На комсомольском собрании его заставляли выступить с разоблачением своего учителя. Студент растерянно ответил, что критике подвергают труд по историографии, семинар же, в котором он занимался, был посвящен экономике XVIII века, а в этой области он никаких антимарксистских взглядов у Н. Л. Рубинштейна не заметил. Результат? Разгромная статья в стенгазете о беспринципности комсомольца, защищающего космополита.

Увы, другие ученики бывали менее щепетильны. Вспоминаю, например, "обсуждение" учебника истории СССР для неисторических факультетов, написанного М. Н. Тихомировым (тогда членом-корреспондентом АН СССР, впоследствии академиком) и С. С. Дмитриевым. Авторы были обвинены в "буржуазном объективизме": его приписывали тем, кто пытался честно изучать исторические источники и делать на их основании выводы и не имел к тому же отягчающего "пятого пункта" в анкете. Это было менее опасно, чем "безродный космополитизм", но все же сулило немало неприятностей. Один за другим поднимались на трибуну профессора, доценты, аспиранты и даже студенты и обличали грубые политические ошибки в учебнике. Один из дипломников М. Н. Тихомирова (он умер почтенным профессором), участник войны, член партбюро факультета, сокрушенно-умиленным голосом говорил:

- Нам, ученикам Михаила Николаевича, было тяжело и больно читать в его книге... Михаил Николаевич учил нас не этому...

О, это было умелое отмежевание: раз "учил нас не этому", значит, ученик-член ВКП(б) не утратил бдительность, а просто профессор умело маскировался.

Навсегда запомнилось заключительное слово М. Н. Тихомирова. Он вроде "признавал ошибки", но, признав, коршуном кидался на своего критика и уничтожал его иронией:

- Вот профессор Н. Н. говорит, что у меня неверно написано о том-то. Конечно, неверно. А как я мог написать верно? Ведь профессор Н. Н. уже двадцать лет пишет на эту тему докторскую диссертацию, да все никак не напишет. Вот мы и не знаем, что и как там происходило.

Прошелся Тихомиров и по молодым проработчикам:

- Здесь выступали некоторые мои ученики. И так складно, бойко говорили... Приятно слушать было. Наверно, в этом и моя заслуга есть?

Для многих из тех, кто выступил обличителем своих учителей, это была первая, но, увы, не последняя подлость на их научном пути, сломавшая их мораль, а следовательно, и погубившая их как ученых. А жаль! Многие из них были далеко не бездарны. Но не намного лучше судьба тех, кто до конца своих дней казнил себя за слабость.

А коллеги, иной раз нехотя, но все же исправно участвовавшие в разоблачении ученых, в вину которых не верили ни минуты? Не буду брать греха на душу и называть имена: многих заставляли это делать, для многих их выступления были минутной слабостью, а во многих других ситуациях они держали себя достойно. Как тот, кто не прошел через следственный изолятор, не вправе судить тех, кто дал лживые показания, так и я, бывший во времена борьбы с космополитизмом студентом, не вправе упрекать немолодых людей, хорошо помнивших 37-й год, за те или иные поступки (разумеется, если они не приняли на себя радостно роль главных громил).

Все эти кампании, проработки, "установки" ломали научную судьбу не только их жертв и не только разоблачителей. В той или иной степени оказывались искалеченными все историки, дышавшие отравленным воздухом тех лет. Как-то Константин Симонов заметил, что если бы незадолго до войны разбился самолет, в котором находились бы те военачальники Красной Армии, которые были репрессированы в 1937-1938 годах, то хотя мы все равно

начали бы войну без Тухачевского, без Уборевича и других, результаты были бы гораздо менее трагичными: оставшиеся в живых не были бы заражены тем страхом, который не давал им возможности смело принимать самостоятельные решения.

Страхом совершить ошибку, страхом подвергнуться проработке были объяты и историки. Нередко именно страх, а не изучение фактов определял их научные взгляды. Судорожные поиски Б. Д. Грековым концепции, которая понравится Ему (о чем я писал несколько выше), – это не только вина, но и беда, большая человеческая трагедия крупного ученого.

Я глубоко уважаю Льва Владимировича Черепнина и как ученого, и как человека. В университете я слушал его блестящие лекции, занимался под его руководством палеографией, а потому и смею числить его среди своих учителей. К Льву Владимировичу я всегда относился с любовью. Болью за него, а не осуждением продиктованы эти строки.

Арест в молодости, тяжелая жизнь после освобождения – долгие годы он не имел права поселиться в Москве, потом боязнь потерять честным трудом завоеванное положение (профессор, заведующий сектором, член КПСС, в последние годы жизни – академик) наложили тяжелый отпечаток на его научную продукцию. Наряду с тонкими источниковедческими наблюдениями, озарениями, свежими оригинальными выводами в его трудах мы нередко находим дань идеологической обстановке времени. То это "москвоцентристская" точка зрения на процесс объединения Руси, то напряженные поиски классовой борьбы между крестьянами и феодалами даже там, где были обычные уголовные преступления, социологические схемы, тщательно подкрепленные частоколом цитат... Все это очень мало гармонировало с личностью этого интеллигентного, изысканно вежливого, острого, демократичного человека, с жадным интересом и доброжелательностью относившегося к людям.

Я, как сейчас, вижу его грузную фигуру на заседании сектора феодализма в Институте истории СССР, которым он заведовал (кстати, при нем в секторе регулярно устраивались интересные научные заседания). Холеное, спокойное лицо екатерининского вельможи, на первый взгляд оно может показаться отрешенным от происходящего. Но вот высказана яркая, нестандартная мысль: и как мгновенно оживляется лицо Л. В., словно ток пробегает по нему... Трагическая судьба!

ТЕ, КТО ВЫСТОЯЛ

И все же находились люди не только благородные, но и смелые. Расскажу в этой связи один эпизод. Я занимался тогда в семинаре профессора Владимира Михайловича Лавровского, известного трудами по истории средневековой Англии и английской революции. Темой моего доклада были памфлеты Лильберна, левого публициста революционной эпохи. Мне было тогда 19 лет, и я был глубоко пропитан духом времени. Используя две статьи американских историков (чем невероятно гордился), я со страстью разоблачал их как дипломированных прислужников империализма. Сейчас я понимаю, как был огорчен В. М., знавший меня уже второй год и незаслуженно тепло ко мне относившийся. Прямо высказать все, что он думает о моей наглой бесцеремонности, В. М. мешало, видимо, несколько обстоятельств: и интеллигентная мягкость, не позволявшая ему обидеть кого бы то ни было, а особенно студента, и понимание того, что читающий свой развязный доклад мальчишка – продукт эпохи, и естественная осторожность: кто знает, какие последствия ждут беспартийного профессора, выступившего против пронизанного большевистской боевитостью доклада комсомольца. И все же В. М. сумел выразить свое отношение. Похвалив мой опус, В. М. продолжал:

- Но не кажется ли вам, что ваш доклад несколько слишком, как бы это сказать, памфлетен?

Следующие слова В. М. Лавровского будут понятны после небольшого комментария. В числе "разоблаченных космополитов" был и специалист по новейшей истории Англии Исаак Семенович Звавич. Ему ставили в вину, среди прочих обвинений, что в одной из работ, написанных в годы союза СССР с Великобританией, он не слишком "разоблачал" лейбористскую партию: ведь она входила тогда в состав правительственного кабинета союзной державы. Теперь это называлось восхвалением правых социалистов. В стенгазете, висевшей именно в эти дни на факультете, была помещена карикатура на И. С. Звавича, изображавшая профессора в виде персонажа оперетты "Свадьба в Малиновке" Яшки-артиллериста. Можно себе представить, как прозвучали в этой ситуации слова Лавровского:

- Не подумайте дурного – я глубоко уважаю Исаака Семеновича Звавича, но не кажется ли вам, что одной из причин его

сегодняшних неприятностей стало несколько памфлетное направление его научного творчества?

"Глубоко уважаю"! Кого? "Разоблаченного космополита"!

И это сказано не шепотом в коридоре, а при всей студенческой группе, среди которой были разные люди.

А в коридоре, на перемене, уже наедине В. М. добавил:

- Я глубоко уважаю Исаака Семеновича. В молодости он написал несколько превосходных этюдов по средневековой аграрной истории Англии. А потом – политические статьи, конъюнктура...

Увы, я не понял преподанного мне урока, мудрое предостережение пошло не впрок: В. М. я воспринял как симпатичного, но забавного чудака, плохо ориентирующегося в острой идеологической борьбе.

Одним из историков, которому удалось отстоять свою внутреннюю свободу, был Степан Борисович Веселовский. Сформировавшийся как ученый еще до революции (он родился в 1876 году и был к 1917 году уже известным историком), избранный в 1929 году членом-корреспондентом АН СССР, а в 1946 году – академиком, Веселовский чудом уцелел от репрессий 1930 года. Кто знает, почему ему выпал тогда счастливый номер в лотерее? Быть может, дело в том, что он, судя по несколько раздраженному тону научной полемики, был в натянутых отношениях с С. Ф. Платоновым, "главой заговора", а следователи тогда еще пытались сохранить хотя бы элементы правдоподобия в сфабрикованных делах? Но хотя он не был ни арестован, ни сослан, он все же лишился постоянной работы, а в промежуток между 1929 и 1936 годами не вышла в свет ни одна его статья или книга. Впрочем, после разгрома школы Покровского Веселовский не присоединился к хору разоблачителей покойного диктатора исторической науки.

Твердость Веселовского проявилась, прежде всего, в сюжетах его исследовательских работ. Так, одной из основных его тем стала история русского боярства. Для советского историка тех лет – подозрительное пристрастие. Сталин в вошедшей в "Краткий курс истории ВКП(б)" работе "О диалектическом и историческом материализме" утверждал, что "история общественного развития есть вместе с тем история самих производителей материальных благ, история трудящихся масс", что историческая наука "*должна, прежде всего, заняться историей производителей материальных благ, историей трудящихся масс, историей народов*" [37] Хотя эти слова прозвучали впервые в 1938 году, но уже задолго до того

именно так очерчивался свыше круг дозволенных научных интересов. Без всякой надежды на публикацию Веселовский занимался исследованиями в области генеалогии, которая, по общему мнению тех лет, была призвана лишь "тешить барскую спесь".

Веселовский не только не стал марксистом, но в отличие от многих других ученых своего поколения никогда не маскировался под марксиста. В его фундаментальном труде по истории феодального землевладения почти не было цитат: всего одна из Маркса, одна из Ленина и ни одной из Сталина.

Один из собеседников Веселовского, причем совсем не принадлежавший к числу близких знакомых ученого, около 1946 года рассказывал по свежим следам о примерно таких словах Степана Борисовича: вот были люди, которые говорили, что они марксисты, и утверждали, что в прошлом в России ничего хорошего не было. Потом пришли другие люди, и тоже называют себя марксистами, и говорят, что в прошлом в России все было прекрасно. Так если сами марксисты не могут понять, в чем марксизм, что же делать нам, немарксистам?

Когда читаешь книги Веселовского, то возникает ощущение, что людям, глаза которых закрыты шорами различных концепций, ученый пытается растолковать, как обстояло дело в действительности. Ведь все было проще: достаточно заглянуть в источник, чтобы убедиться. Может быть, поэтому Веселовского нередко упрекали в том, что он не любит общетеоретических положений. Это неверно. Веселовский был только исключительно строг к фактической основе любой концепции. Он не задумывался, насколько выводы, к которым он приходит, соответствуют тем или иным аксиомам, в том числе "установкам", ибо знал, что наука – враг аксиом. Вовсе не чурался Веселовский концепций, он только считал, что они должны быть основаны на твердо установленных фактах. *"...Оперирование в исторических исследованиях такими отвлеченными понятиями, как класс, социальные слои, процесс, явление и т. п., – писал Веселовский, – предъявляет к историку требования очень высокие как с точки зрения количества материалов и предварительной их критики, так и в отношении выправки логической мысли"*. И далее, явно говоря о советской исторической науке его времени, продолжал: *"Фантастика произвольных психологических характеристик оказывается на*

деле часто замененной фантастикой общих фраз, столь же необидительных и ни для кого не обязательных". В годы, когда абстрактная социологическая схема считалась первым признаком научности, а человек воспринимался как лишний и случайный штрих в общей картине исторического процесса, Веселовский писал: *"Произвольные психологические характеристики действительно всем надоели, но правильно ли отказываться от них наотрез и задаваться целью писать историю без живых людей?"* [38]

Главным гражданским и научным подвигом Веселовского стала его борьба против возвеличивания Ивана Грозного и его террора. Во время сталинщины, примерно с конца 30-х годов, Грозного в официальной науке рассматривали как *"крупного государственного деятеля своей эпохи, верно понимавшего интересы и нужды своего народа и боровшегося за их удовлетворение"*, а его террор – как необходимое средство борьбы с *"боярской изменой"*. Всякое сомнение в величии грозного царя объявлялось клеветой на патриота Русской земли. Веселовский с самого начала, когда появились только первые признаки оправдания террористической диктатуры царя Ивана, резко выступил против и продолжал борьбу до конца, даже после того, как в Постановлении ЦК ВКП(б) "О кинофильме "Большая жизнь" появился сразу ставший обязательным для цитирования восхитительный термин *"прогрессивное войско опричников"* [39]. Два серьезных исследования по истории опричнины Веселовскому удалось опубликовать в 1940 и в начале 1946 года. Но после сентября 1946 года, когда появилось постановление ЦК, о печатании работ, в которых опричнина не восхвалялась, нечего было и думать. И тем не менее историк не прекращал своего напряженного труда. Труд этот не пропал даром: через одиннадцать лет после смерти ученого, в 1963 году, вышла в свет его книга *"Исследования по истории опричнины"*. Ее опубликование сыграло исключительно важную роль в развитии не только исторической науки, но и общественного сознания: недаром рецензии на этот сугубо научный труд появились в литературных журналах – "Новом мире" и "Знамени". За рубежом статьей *"Мифы и реальность об Иване Грозном"* откликнулся в журнале "Ринашита" известный итальянский критик Витторио Страда [40].

Не надо думать, что смелость сошла с рук Веселовскому. В 1947 году вышел в свет первый том (второй том Степан Борисович не успел завершить) его фундаментального труда "Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси". Я уже писал, что в книге почти не было цитат из "основоположников", к тому же многие выводы были непривычны и разбивали укоренившиеся стереотипы. Вероятно, поэтому издательство снабдило книгу предисловием, в котором основное место было уделено критике автора за отступления от единственно верной теории. И все же: достаточно был удален от злобы дня предмет исследования. Так что трудно понять ту травлю Веселовского, которая развернулась в печати сразу после выхода книги, если не рассматривать ее как месть за работы по истории опричнины.

Ленинградский историк И. И. Смирнов озаглавил свою рецензию в "Вопросах истории" так: "С позиций буржуазной историографии". Даже критическое предисловие подверглось нападкам: оно, по мнению И. И. Смирнова, затушевывало *"методологическую порочность книги"*.

Еще более был резок некто А. Кротов (мне так и не удалось выяснить, кто он такой; другие его статьи мне не попадались), который в "Литературной газете" писал, что, *"критикуя методологические установки автора, составители «предисловия» не дают им острой большевистской оценки"* и *"расшаркиваются"* перед Веселовским. *"Читая книгу С. Б. Веселовского, – восклицает Кротов, – трудно поверить, что автор ее – советский ученый"* [41]

От разносной критики Веселовского не спасли ни звание академика, ни даже то, что только что, в 1945 и 1946 годах, он был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Организаторы кампании против Веселовского добились поставленной перед ними цели: Веселовского перестали печатать. В 1948-1950 годах не вышло в свет ни одной написанной им строчки, а в 1951 году, незадолго до кончины ученого (он умер в январе 1952 года), были напечатаны подготовленные им к публикации документы по истории России XVII века...

Веселовский – лишь один, быть может, наиболее яркий, пример мужественной стойкости ученого. Но были и другие.

Вспоминаю один эпизод из своего детства. Это было во время войны. Я занимался тогда в историческом кружке Московского дома

пионеров, где руководителем был замечательный педагог Александр Феоктистович Родин (подробнее о нем – несколько ниже). Как-то Александр Феоктистович пригласил к нам Сергея Константиновича Богоявленского, одного из старейших наших архивистов, члена-корреспондента АН СССР. С. К. Богоявленский выглядел уже не просто старым, а дряхлым, говорил тихо и без особого блеска. Не помню уж почему, но зашел разговор об Иване Грозном, и я, начитавшийся панегириков этому царю, стал хвалить опричнину. "Но ведь опричнина – это террор", – с латинским семинарским ударением на первом слоге возразил С. К. Думаю, ударение было не случайным: ведь по латыни terror – ужас. "Ну и что?" – подумал ученик советской школы, бодро отвечавший на уроках и о прогрессивном якобинском терроре, и о красном терроре времен гражданской войны, читавший в газетах о том, что врагов народа надо уничтожать, как бешеных собак. Точно не помню, видимо, примерно так я защищал опричнину. "Но ведь это террор", – снова повторил Богоявленский, уверенный, что ужас нельзя одобрять. Нет, я не понял тогда старого ученого. Но сегодня я восхищаюсь его мужеством.

Один из коллег рассказывал мне, как в первом послевоенном году, в 1946-м, профессор историко-архивного института Павел Петрович Смирнов так говорил со студентами об Иване Грозном, что они холодели от ужаса: не перед деяниями царя, а перед возможной судьбой профессора. Мало того, что было опасно осуждать "великого патриота", но параллели были слишком очевидны. Я никогда не видел П. П. Смирнова, знаю его только по работам. Уверен, что он был смелым и честным человеком. Одно из свидетельств тому – его книга "Посадские люди и их классовая борьба". Только ее название – дань времени и моде. А содержание? В то время, когда всю историю пытались свести к резко выраженному классовому антагонизму, П. П. Смирнов совершенно спокойно писал об "одиначестве", союзе между посадскими людьми и боярами во время московских мятежей – городских восстаний XVII века.

Но, быть может, еще труднее, чем Веселовскому и Смирнову, было проявить мужество и стойкость человеку, не увенчанному высокими академическими званиями. Я говорю об Александре Феоктистовиче Родине, в историческом кружке которого я занимался с 1942 года. А тесные контакты с этим замечательным

человеком я сохранил вплоть до его кончины в 1963 году. В голодной и холодной военной Москве наш исторический кружок был удивительным оазисом культуры и раскованной мысли. Мы свободно спорили обо всем, жили напряженной интеллектуальной жизнью. У нас в гостях постоянно бывали крупные ученые: Александр Феоктистович никогда не боялся, что от общения с ними может как-то померкнуть в наших глазах его авторитет. Часто мы приходили к нему домой и рылись в книгах его обширной библиотеки, хорошо знали его домашних; сын Александра Феоктистовича Олег, наш сверстник, был нашим приятелем, хотя и не бывал в кружке.

Но здесь я хочу вспомнить о двух эпизодах, не связанных с наукой непосредственно. Шла война, и мы писали работы на конкурс "Города-герои Великой Отечественной войны". Для двоих кружковцев, вывезенных из блокадного Ленинграда, работами стали их воспоминания: Александр Феоктистович думал о создании новых исторических источников. Один из ленинградцев читал эти свои воспоминания на заседании кружка. Он дошел до самого трагического места: умирающая от голода мать говорит ему перед смертью:

- Саша, продай мебель и купи хлеба.

Александр Феоктистович вскинулся и взволнованно прервал Сашу:

- Кто же покупал мебель в осажденном городе?

- Как кто? А пекаря.

- Ты обязательно напиши об этом. Это тоже история, и об этом тоже должны знать люди.

Такой урок запомнился навсегда: на конкретном примере мы увидели, что правда истории неделима, ее нельзя селективировать, сохраняя ту, что "нужна", и отбрасывая неудобную. Вторым пример я привожу не без некоторого смущения: а не воскликнут ли люди из "Памяти" или из "Нашего современника": "А, понятно, масон!"

Короче: в возрасте тринадцати лет мы с моим приятелем решили создать масонскую ложу, хотя наши сведения о масонстве ограничивались тем, что можно прочесть в "Войне и мире". Был написан устав, а себе самим мы присвоили громкий титул, который нельзя найти в реальной масонской иерархии: братья-философы. Не знаю, как узнал о ложе Александр Феоктистович. Впрочем, мы особенно не скрывались, да и тайн от любимого учителя у нас

практически не было. Не знаю (или не помню), о чем он говорил с моим другом. Но мне А. Ф. сказал следующее:

- Ты знаешь, один мой знакомый недавно вернулся из командировки на Дальний Восток и видел там лагеря. Ты думаешь, там нет твоих сверстников? А ты знаешь, что один из наших уже там? (Речь шла о будущем известном писателе и публицисте, ныне покойном Камиле Икрамове, нашем кружковце, который исчез неясным для нас образом, а как потом я узнал, был арестован, едва ему исполнилось шестнадцать.) А ты знаешь, что после этого на Лубянке на меня и на всех вас заведены досье? Смотри, ты играешь с огнем.

Если бы Александр Феоктистович стал мне втолковывать, что масоны – это плохо, что философский материализм всесилен, ибо верен, а идеализм – заблуждение, то, вероятно, из мальчишеского духа противоречия я бы стоял на своем и даже еще больше укрепился в "масонстве". Но наш руководитель пошел по другому пути, более результативному. А ведь можно себе представить, что ждало бы Александра Феоктистовича, отца двоих детей, если бы я разболтал содержание нашего разговора. И главное – мог я это сделать совсем не злонамеренно: по-моему, А. Ф. даже не предупредил меня, что надо хранить тайну. Для него тогда было важно только одно: спасти своего ученика. Кстати, когда через несколько лет, уже студентом, в сталинском лагере оказался мой "брат-философ", то Александр Феоктистович писал ему туда и посылал книги.

Мне давно хотелось посвятить светлой памяти моего учителя что-нибудь из написанного мною. Я не случайно избрал для этого помещенный в этой книге очерк об угличском следственном деле: Александр Феоктистович очень любил такие "тайны истории", а делом о смерти царевича Дмитрия занимался и специально.

ПОСЛЕ СТАЛИНА

Но вот наконец умер Сталин. Пахнуло свежим воздухом, наступила оттепель. Конечно, не весна. Как писала тогда Юнна Мориц: *"О, топоры не лед, они не тают"*. Возможности историков расширились, начались острые дискуссии по прежде запретным темам; западных историков перестали считать всех, как одного, фальсификаторами: некоторых перевели в разряд честно заблуждающихся. Кое-кто из них даже приезжал сюда и мог выступить, правда, нередко перед специально отобранной аудиторией. И все же рамки дозволенного оставались. Они стали

шире, выход за их пределы карался уже не по конвойному принципу: *"Шаг вправо, шаг влево – стреляю без предупреждения"*. Людей не арестовывали за научные взгляды, даже редко увольняли с работы. Но проработки остались. Опальных историков на некоторое время переставали печатать, запрещали им совместительство в вузах, старались искоренять ссылки на их работы в статьях и книгах коллег.

Можно привести не один пример таких проработок. Разгон редколлегии *"Вопросов истории"*, осуществленный под непосредственным руководством М. А. Сулова, стоивший жизни главному редактору журнала академику Анне Михайловне Панкратовой (она вскоре умерла от инфаркта). Погром группы ученых, занимавшихся нестандартно изучением социальных отношений в России накануне, революции (А. Я. Аврех, П. В. Волобуев, К. Н. Тарновский и др.). Исключение из партии А. М. Некрича за книгу о начале Великой Отечественной войны. Проработка А. Я. Гуревича за книгу о генезисе феодальных отношений в Западной Европе.

Лучше других аналогичных *"дискуссий"* как непосредственный свидетель и отчасти участник событий я знаю историю с работой моего учителя Александра Александровича Зимина, посвященной *"Слову о полку Игореве"*.

Оригинальный и глубокий ученый, наделенный острым скептическим умом, Зимин пришел к выводу, что *"Слово о полку Игореве"* – не средневековое произведение XII века, а гениальная стилизация второй половины XVIII. Дело не в том, прав был Зимин или нет, хотя я лично убежден его аргументами. Дело в другом. Ведь и кроме Зимина были ученые, сомневавшиеся в традиционной датировке *"Слова..."*, относившие его то к концу XVII, то к XVIII веку. Но, зная религиозно-фанатическое отношение к этому памятнику, помня, как обвиняли в антисоветизме крупнейшего французского слависта Андре Мазона, считавшего *"Слово..."* подделкой, они не решались ни обнародовать свои сомнения, ни потратить годы напряженного труда на серьезное исследование, сулящее лишь тернии без лавров. Зимин же считал, что, выступив открыто со своей точкой зрения, он поможет утвердить мысль, что в науке нет запретных тем, нет источников, которые не могли быть подвергнуты критическому анализу.

Обширная монография, объемом в своем первом, тогдашнем варианте около 700 машинописных страниц, была написана и представлена в Отделение истории АН СССР. Долгие переговоры, нудные бюрократические игры – обсуждения, согласования, виляния... И наконец, по тем временам, победа: в 1964 году на ротапринтере было напечатано 100 пронумерованных экземпляров, только для "служебного пользования". Была организована дискуссия – с заранее отобранным составом участников. Некоторое количество разрешили пригласить и Зимину. Так я, молодой кандидат наук, оказался владельцем экземпляра (который было ведено сдать по окончании дискуссии) и участником обсуждения.

У входа в зал Института истории, где обсуждалась книга о "Слове о полку Игореве", стояли крепкие ребята – младшие научные сотрудники из сектора истории советского общества, такие, кого не интересовало особенно средневековье, и строго проверяли приглашения у входящих. При мне, например, не пустили в зал замечательного ученого, археолога и антрополога Михаила Михайловича Герасимова.

Дискуссия шла три дня, один председатель сменял другого, но никто из них по тематике своих работ не имел отношения к обсуждавшейся проблеме:

академик Евгений Михайлович Жуков – специалист по новой и новейшей истории Японии,

Владимир Михайлович Хвостов, директор Института, – автор работ о международных отношениях XIX-XX веков и консультант МИДа,

Виктор Иванович Шунков – он чуть ближе стоял к теме дискуссии: изучал историю Сибири XVII века.

Большинство выступавших использовало трибуну для нападок на Зимина. Я слушал и поражался: ведь выступают ученые, они хорошо знают, что Зимин искал только истину, что прекрасно понимал, на какой риск идет. Увы, из тех, кто выступал против выводов Зимина, не нашлось, кроме Николая Калининвича Гудзия, никого, кто бы сказал: я не согласен с Зиминым, но уважаю его научную честность, а полемизировать с его взглядами буду только после опубликования книги. Утверждали даже, что Зимин взялся не за свое дело, что он не специалист в области древнерусской литературы, хотя до тех пор его работы систематически печатались в "Трудах отдела древнерусской литературы" Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР. Были и струсившие: те,

кто обещал поддержку, но в последнюю минуту решил не приходить, или пришел, но смолчал, а то и выступил против.

Все розданные экземпляры, как я уже упоминал, подлежали сдаче. Стало известно и для чего: чтобы их уничтожить. И хотя я человек довольно дисциплинированный и законопослушный, я взбунтовался и решил свой экземпляр не отдавать. На самый последний день дискуссии, чтобы не было возможности поддаться слабости, я просто не принес книгу Зимина и лицемерно-смущенно сказал, что забыл положить в портфель. Около года мне время от времени звонили, требовали принести. Я отвечал, что-де обязательно, как-нибудь, когда освобожусь... Потом звонки прекратились. Так что и эта книга Зимина есть в моей библиотеке. Но я до сих пор с печалью вспоминаю сцены возвращения участниками дискуссии экземпляров исследования. Вот маститый ученый, много сделавший и сегодня делающий для развития науки, занимающий в наши дни очень благородную и прогрессивную гражданскую позицию, с подчеркнутым омерзением вытаскивает из портфеля три ротапечатных тома и, нарочито радуясь, что освобождает свой портфель от этого, отдает их сборщику из команды уничтожения...

А вскоре в "Вопросах истории" появился неподписанный, анонимный отчет о дискуссии, над которым трудилось несколько человек; редактировали его, как стало вскоре известно, в отделе науки ЦК КПСС. Грубая фальсификация была характерна для этого документа от первой до последней строчки. Дело не только в том, что выступления тех, кто поддержал концепцию Зимина, в том числе и мое, были только названы, а не изложены, не были приведены аргументы. Была еще изменена последовательность выступлений: сначала сообщалось о выступлениях сторонников Зимина, а потом приводились аргументы его противников. Таким образом у неискушенного читателя создавали ощущение, что несколько неумных и доверчивых людей подпали под влияние Зимина, но другие, более квалифицированные, их поправили [42].

Тогда же я отправил в редакцию письмо, в котором на нескольких страницах подробно разбирал методы, которыми был сработан этот отчет. Ответа я не получил, хотя мне достоверно известно, что мое письмо дошло. Где оно сейчас хранится – в архиве журнала или в архиве ЦК КПСС (ибо письмо как будто читали и там, где на самом деле готовили материал), не знаю.

И все же это было уже не сталинское время. Помню, как Александр Александрович, потирая руки, говорил:

- Что ж, подведем итоги. Меня били. Но меня били не так, как в тридцать седьмом. И не так, как в сорок девятом.

Действительно, не только книги и статьи Зимина после небольшого перерыва продолжали печатать, но ему даже удалось опубликовать отдельными статьями, часто в обрамлении разгромных, ругательных статей своих "оппонентов", значительную часть своего труда. Но в целом книга остается до сих пор не опубликованной. А ведь Зимин все полтора десятка лет между дискуссией и своей безвременной кончиной продолжал ее дописывать: учитывал новую литературу, отвечал на новые возражения. И тот машинописный экземпляр, который хранится у вдовы ученого Валентины Григорьевны, содержит уже больше тысячи двухсот страниц.

Пожалуй, последней по времени проработкой была травля, направленная против ленинградского историка Игоря Яковлевича Фроянова, который выступил с оригинальной, хотя и спорной концепцией социального строя Киевской Руси. Фроянов считает Киевскую Русь не раннефеодальным, а раннеклассовым обществом, в социальном строе которого сочетались элементы родового строя, рабовладения и феодализма, без точной формационной принадлежности. С этими выводами можно спорить (бесспорное в науке обычно тривиально и неинтересно), но основаны они на изучении источников, на их новом прочтении. Короче, концепция Фроянова заставляет думать и, следовательно, дает импульсы для развития науки.

Так и отнеслись к трудам Фроянова многие серьезные ученые. Например, Лев Владимирович Черепнин, исследованиям которого во многом (и пожалуй, в наиболее существенном) противостоит фрояновская концепция, тем не менее не только полемизировал со своим коллегой, но и счел для себя возможным выступить официальным оппонентом на защите его докторской диссертации и поддержать предложение о присуждении своему научному противнику ученой степени. Ах, как бы легко жилось в науке, если бы все ученые только так отстаивали свои научные взгляды! Увы, слишком распространена другая модель. Ее с удивительной откровенностью продемонстрировал как-то один уже покойный исследователь. Вручая мне свою книгу, он заметил: *"Тех, кто не согласен с моей концепцией, я разделяю на дураков и подонков"*.

Замечу, что многие умные и порядочные люди не были убеждены доводами этого яркого, но увлекающегося историка.

Но вернемся к фрояновскому сюжету. Концепция его пришлась не по нраву некоторым влиятельным ученым, обладающим высокими званиями и должностями. В этом беда нашей науки: авторитет звания и должности в глазах обывателя часто заменяет научный авторитет. Ведь он академик, он директор института – часто можно услышать. Это беда не только исторической науки: как умело пользовались высокопоставленные чиновники экспертными оценками академиков и членов-корреспондентов и для обоснования поворота сибирских рек, и для строительства АЭС там, где их нельзя строить. А тот, кто хотя бы издали знаком с кухней академических выборов, знает, сколько крупных ученых, определяющих лицо науки, остается за бортом академии и сколько серых, научно бесплодных людей (естественно, наряду с учеными действительно высокого ранга) туда входит...

Одним из главных научных противников Фроянова, перенесшим свою полемику и в сферу организационных действий, стал академик Борис Александрович Рыбаков, лауреат Ленинской премии и Герой Социалистического Труда. Даже в годы перестройки он позволил себе в интервью в газете "Советская Россия" нападки на Фроянова, правда завуалированные ("*нашлись ученые*"). Изучая родовой строй древних славян, Фроянов имел неосторожность провести параллель с классической моделью родо-племенного строя, использованной еще в прошлом веке американским этнографом Морганом, а вслед за ним и Энгельсом, – с североамериканскими индейцами ирокезами. Вероятно, воспринимая ирокезов на основании детских воспоминаний о романах Фенимора Купера и Майна Рида исключительно как воинственных дикарей, многие, в том числе и Б. А. Рыбаков, возмутились: как смеет Фроянов сравнивать с какими-то ирокезами нашу Киевскую Русь? Об ирокезах поминал Б. А. Рыбаков и в своем интервью.

Была и еще одна причина неприятия исследования Фроянова: опасались, что оно может нанести удар по формационному учению в том жестком виде, в каком оно было сформулировано Сталиным в четвертой главе "Краткого курса истории ВКП (б)", не хотелось расстаться с привычной со студенческих лет простотой и погрузиться в сложный и неоднозначный мир реальной истории.

В начале 80-х годов, как по команде (а вероятно, в самом деле по команде, и, возможно, не из Отделения истории АН СССР, а повыше), в двух ведущих исторических журналах – "Вопросах истории" и "Истории СССР" появились совершенно разгромные рецензии на книги Фроянова [43]. Их авторы не желали видеть в этих монографиях ровным счетом ничего положительного, а тон их заставлял вспомнить "*сороковые роковые*". В Москве состоялось обсуждение (а вернее, коллективное осуждение) концепции Фроянова, на которое самого Фроянова не сочли нужным пригласить. Правда, в своем городе Фроянов не подвергся преследованиям (здесь сошлось несколько счастливых случайностей), даже стал и заведующим кафедрой истории СССР, и деканом исторического факультета Ленинградского университета. Тем не менее его книга по историографии Киевской Руси была задержана печатанием на несколько лет и вышла в свет лишь сейчас, в эпоху гласности.

Дело не в том, что Б. А. Рыбаков не соглашался с И. Я. Фрояновым, а в том, что Рыбаков был до последнего времени монополистом в изучении истории средневековой Руси, лицом неприкасаемым. Лишь очень немногие авторы решались на полемику со взглядами и научной методикой Рыбакова, еще меньше редакций и издательств осмеливалось пропустить в печать критику его работ. Сейчас, когда Б. А. перестал занимать должность директора академического института, в печати стали появляться критические замечания о его трудах [44] Я знаю, что некоторые из моих коллег воспринимают появление таких выступлений без восторга: мол, пока Рыбаков был у власти, молчали, а теперь, когда полемизировать с ним стало безопасно, разговорились. Однако на самом деле было не так. Смелых авторов хватало, смелых редакций было маловато. Так, в течение долгого времени оставалась неопубликованной статья Я. С. Лурье, содержащая анализ источниковедческих приемов Б. А. Рыбакова.

Свой опыт был и у меня. В середине 60-х годов я получил от одного из журналов заказ написать рецензию на первые два тома выпускавшейся Институтами истории СССР и археологии АН СССР 12-томной "Истории СССР". Первый том, главным редактором которого был Б. А. Рыбаков, содержал, на мой взгляд, далекие от исторической действительности концепции. Прежде чем согласиться, я предупредил редакцию о своем критическом

отношении к этому тому. В своей рецензии я вовсе не покушался на право академика Б. А. Рыбакова иметь и публично излагать свою, отличающуюся от моей, тогда еще совсем молодого научного работника, недавно лишь защитившего кандидатскую диссертацию, точку зрения. Возражал я только против того, что издание, претендующее на то, чтобы подвести некий итог развития советской исторической науки, выдает взгляды одного ученого за общепринятые. В такой книге, считал я (и считаю сейчас), должны быть отражены и другие мнения. И я напоминал об этих мнениях.

В редакции напугались (тем более что я писал по-молодому запальчиво) и передали мой текст на отзыв человеку, который концепционно был гораздо ближе к Рыбакову. В результате появилась удивительная рецензия на рецензию, в которой мне было предъявлено обвинение в антипатриотизме (тогда еще не было пущено в ход словечко "русофобия"). *"Кому-то, – писал мой рецензент, – очень хотелось бы подорвать корни патриотизма в душах наших людей"*. Поминалось и что я *"подхватил в свое время спекулятивную идейку Зимина"*. Короче, рецензия в свет не вышла.

ЧЕСТНОСТЬ ИСТОРИКА

Годы, элегантно именуемые "застойными", требовали от историков много мужества, чем сталинские времена, но тоже мужества. Оказалось, что страх потерять работу давит на человека почти с той же силой, что и страх сесть в тюрьму. В условиях государственной монополии на идеологию монополизированы и рабочие места. Учитель, сотрудник научно-исследовательского института, музейный работник, вузовский преподаватель – все состоит на государственной службе и соответственно могут быть лишены хлеба насущного, если не подчинятся жестким идеологическим требованиям государства. Даже люди "свободной профессии" – писатели, не имеющие трудовой книжки, не состоящие нигде в штате, и те – члены Союза писателей и литфонда. А потому нарушение ими правил игры влечет за собою не отлучение от "кормушки", как презрительно сказали бы многие, но просто лишение нормального заработка, превращение в безработного, а следовательно, в преследуемого по суду тунеядца.

Но помимо кнута был силен и пряник. Количество и качество соблазнов возросло во много раз по сравнению со сталинской эпохой. Как тяжело, должно быть, было "выездному" (сам автор "выездным" никогда не был и ездил лишь туристом в соцстраны, да

и то после начала перестройки) превратиться в "невъездного" и распротиться с приятными вояжами "за бугор". И как хотелось приобщиться к таким поездкам тем, кто не покидал ни разу пределы своего любезного, но вечно нищего отечества. Машина, дача, цветной телевизор, хороший холодильник – весь этот набор простых полезных вещей, создающих элементарный комфорт, становился доступным тому, кто верой и правдой служил единственному подлинно научному учению и не поддерживал подозрительных знакомств.

Открытый протест, диссидентство для историка означали уход от своей профессии. Ведь историк не может плодотворно работать без архива. А допуск туда открыт только по ходатайствам научных учреждений, где работают исследователи. В крайнем случае "отношение" дает издательство или редакция журнала, которые собираются напечатать книгу или статью историка. А кто же даст такое отношение диссиденту!

Иногда историков упрекают в том, что в отличие от писателей они редко решались писать без надежды на публикацию, в ящик стола, и, когда наступила гласность, большинству из нас нечего было предъявить. Я бы не сказал, что это обвинение полностью справедливо. Есть разница в специфике работы писателя и ученого. Хорошая литература не стареет. Роман Булгакова, прочитанный через сорок лет после написания, остается великолепной прозой. Разумеется, и хорошая научная работа надолго сохраняет свое значение. И все же: стареет она быстрее. Труды историков пушкинской поры сегодня интересны либо как памятники истории науки, либо (Карамзин) – как литературные произведения. А Пушкин остается неотъемлемой составной частью нашей сегодняшней культуры.

Обычная же добротная монография стареет быстро. Пока она вылеживалась в ящике письменного стола, появлялись новые исследования на ту же тему, входили в научный оборот новые источники. Если историк дождался снятия цензурного запрета, то для подготовки своего старого труда к публикации ему нужно затратить не намного меньше усилий и времени, чем для того, чтобы написать его заново. Столько сносок надо проверить, столько новых книг, статей, публикаций источников учесть! Да и в конце концов сами научные взгляды по конкретным вопросам могут за годы претерпеть изменения.

Но и в этих условиях многие историки находили возможность и писать, и оставаться честными. (Впрочем, такие примеры есть и в литературе: печатались бескомпромиссно честные романы, повести и рассказы Юрия Трифонова: нет ни одного стихотворения, от которого приходилось бы отрешиваться, у Андрея Вознесенского.) Чтобы сохранить порядочность, у историков были разные пути. Поскольку наиболее тяжелому идеологическому давлению подвергалась, естественно, история XX века, то многие уходили в изучение более ранних периодов. Порой нас обвиняли за это в "бегстве от современности". Это было действительно бегство – от конъюнктуры и бесчестности. Но и в истории далекого прошлого приходилось искать свою "экологическую нишу". Поясню это обстоятельство на собственном примере. В свое время мне буквально шел в руки очень интересный и нетронутый материал о русском старообрядчестве второй половины XIX – начала XX века. Соблазн был велик: тема, совершенно не изученная, а общение со старообрядцами во время экспедиций за рукописями (см. в этой книге очерк "По избам за книгами") вызывало у меня к ним особый интерес и симпатию. Но я преодолел искушение, понимая, что в условиях 60-х годов работа о старообрядчестве могла быть написана только с антирелигиозных, воинствующе атеистических позиций. Хотя я человек неверующий, но все же не считал для себя возможным, во-первых, разоблачать, а не изучать (или вернее – подчинять изучение разоблачению) сложное историческое явление, а во-вторых, полемизировать с теми, кто не может мне публично ответить.

В истории русского средневековья такой же запретной для меня стала тема внешней политики. Ибо в стереотипах, существовавших до самого последнего времени (не только в сознании, но и в неписаных редакционно-издательских законах), во внешней политике Россия всегда была права, даже если на престоле был Иван Грозный или Николай I. Поэтому мне не хотелось писать о правоте русской внешней политики и в тех случаях (а их было немало), когда она и в самом деле была права. Любопытный парадокс: чтобы сохранить внутреннюю свободу, приходилось подвергать себя самоограничению.

Многие историки, занимавшиеся изучением истории XX века (*"Век двадцатый, век необычайный! Чем эпоха интересней для историка, тем для современника печальней"*, – писал Николай Глазков),

уходили от общих проблем, от больших тем в исследование конкретной фактической истории, в скрупулезный анализ источников. И в этом находили творческое удовлетворение.

Только считанным талантам удавалось не только сохранить свою личность, но и создать такие труды, которые по-настоящему двигали вперед науку. В этой связи я хотел бы написать о тех двоих из числа таких историков, которых уже нет с нами и кого я знаю, пожалуй, лучше, чем других.

Александр Александрович Зимин. О нем уже шла речь на страницах этой книги. Высокий, худой и долго остававшийся моложавым, Александр Александрович рано вошел в большую науку. Когда я с ним познакомился, ему было лет 36-37, он был на пороге защиты докторской диссертации, причем многие из тех, кто знал Зимина только по работам, были уверены, что он уже давно профессор. Я помню первое чувство ошеломления: этот мальчишка и есть тот самый Зимин? Быстрый и в движениях и в работе, щедро одаренный от природы, Александр Александрович был удивительно трудолюбив и трудоспособен. Причем со стороны он мог показаться легкомысленным баловнем судьбы. Вот он быстрой, легкой, слегка пританцовывающей походкой входит в читальный зал архива, целует ручки дамам, отводит в сторону кого-то из коллег, чтобы поделиться свежими новостями (не обязательно только научными: с пристальным интересом А.А. следил и за политикой, и за борьбой кланов в руководстве исторической наукой, и за фильмами на международных кинофестивалях), присаживается бочком на стул и, на первый взгляд очень быстро читая рукопись, делает своим неповторимо неразборчивым почерком какие-то косые пометки на разрозненных листках. А потом оказывается, что нет практически рукописи, содержащей материал по истории средневековой России, которую не изучил бы Зимин.

Быстрота Зимина могла показаться непостижимой человеку, не привыкшему к А. А. Помню, как первый раз он читал мою статью при мне. Честно говоря, я сначала даже немного обиделся: статья была небольшая, страниц 20-30 на машинке, и я надеялся, что Зимин прочтает ее сразу и тут же сделает замечания. А вместо этого он начал перелистывать рукопись, изредка чуть-чуть задерживая внимание на какой-нибудь странице.

Всю рукопись он держал в руках минуты три, от силы – пять. Я ждал услышать: "Ну, через недельку созвонимся и поговорим".

Зимин же тут же сделал как всегда доброжелательный, но критический разбор всего написанного. Разбор тщательный, подробный, включая библиографию, в которой обнаружились пробелы. Зиминская память была поразительна: он не только помнил все, что было написано или опубликовано из источников по любому вопросу, но и мгновенно находил нужное место в книге.

Зими́на я, должно быть, чаще, чем других историков, наблюдал за работой. И это обстоятельство опять-таки связано с особенностями его личности. Большинство из нас умеет работать только наедине. Приход гостя, собеседника прерывает работу. Зимин же никогда не терял ни секунды. Вот во время разговора он дал тебе что-то интересное почитать. Те 10-15 минут, которые ты занят чтением, он посвящает работе: что-то правит в тексте, делает какие-то сноски, что-то ищет в одной из многочисленных книг, лежащих грудой на столе. Да и в середине разговора, не прекращая беседы, может быстро открыть свою рукопись и сделать пометку.

Зимин был трудолюбив в точном, этимологическом значении этого слова: он любил свой труд, никогда им не тяготился. Занятие историей как наукой было основным способом его существования.

Диапазон научных интересов Зимина был на редкость широким, его труды посвящены истории России с древнейших времен и до конца XVII века, он изучал и экономику, и социальные отношения, и политическую борьбу, и идеологию, и культуру. Не раз Зимин говорил, что историк, занимающийся средневековьем, не может быть только историком: ему приходится выступать и в роли экономиста, юриста, филолога.

Зимин всегда с огромным уважением относился к своим учителям и предшественникам. Может быть, поэтому его первые статьи и книги, введшие в науку массу нового, свежего материала, содержавшие много интересных, оригинальных наблюдений по конкретным вопросам, тем не менее, были в основном традиционны: и по методике и по выводам. Обычно бывает иначе: молодой исследователь в начале своего пути готов зачеркнуть все сделанное поколениями отцов и дедов.

Пришел он, "*красивый двадцатидвухлетний*", чтобы все перевернуть, все сделать по-новому, не повторить ошибок стариков. Только с годами приходят сначала взвешенность оценок, а затем, увы, и ретроградство. Зимин же прошел путь прямо противоположный. С годами он становился все менее и менее

традиционным, все более свежими и оригинальными оказывались выдвигаемые им концепции. С возрастом к нему приходила все большая раскованность, независимость мысли. Сам он говорил, что сдирает с себя ослиную шкуру. И очень строго, по-моему, слишком строго судил свои ранние работы. Это не было кокетством. Раз, услышав одно его несправедливо резкое суждение о самом себе, я возразил. Зимин помрачнел, почему-то обиделся и отчужденным голосом ответил: "Вероятно, у нас с вами разные точки отсчета".

А ведь Зимину было, пожалуй, тяжелее, чем людям моего поколения. Казалось бы, страх и вызванное им приспособленчество должны были завладеть его душой. Зиминская среда (родители были дворяне, отец – полковник старой армии, умерший от тифа незадолго до рождения сына) испытала столько ударов репрессивного механизма, что остаться смелым было нелегко. Когда Зимину было 15 лет, проходили массовые репрессии против дворян после убийства Кирова. 1937-1938 годы он пережил 17-18-летним юношей. Начинающий ученый, молодой кандидат наук и преподаватель историко-архивного института – он свидетель жестокой и грязной "борьбы с космополитизмом"...

Нет, конечно, как и все, он иногда был вынужден идти на компромиссы, и ему не чуждо было чувство страха. Но он научился преодолевать его. Помню, на одном заседании после мрачного, наполненного идеологическими клише доклада одного талантливого, но очень руководящего ученого, когда коллеги либо смущенно отмалчивались, либо говорили о том, как своевременно докладчик "дал бой", Зимин мне признался: "Страшно выступать. Но все же выступлю". И выступил. В слегка шуточной, вроде добродушной манере Зимин иронизировал над докладчиком, который обрушивался на тех, кто отступает от единственно верного идеологического курса: по словам А. А., у докладчика чувство локтя заменяется порой чувством колена.

Один литературовед (занимавший, как ни странно, важный пост в ЦК КПСС) в откровенном разговоре вскоре после смерти Зимина мне сказал: "Я думаю, если бы Александр Александрович не выступил со своей работой о "Слове о полку Игореве", а оставил свою точку зрения внутри себя, он погубил бы себя как ученого". Мой собеседник был, несомненно, прав: именно это преодоление страха дало Зимину силы уйти в своих последующих работах от привычных стереотипов, а в последние годы, когда он был тяжело и

неизлечимо болен, писать одну книгу за другой, не добиваясь их издания, не желая тратить то недолгое время, которое, он знал, ему было отпущено, на хлопоты. Потому-то за десять лет, прошедшие после кончины ученого (Зимин умер в 1980 году), вышли в свет четыре его монографии, на подходе пятая и ждут своей публикации еще минимум три.

Свою последнюю книгу "Витязь на распутье", о событиях кровавого междоусобья на Руси в середине XV века, Зимин писал на одном дыхании, не думая о том, насколько "проходимо" то, что выходило из-под его пера. По широте мыслей я могу сопоставить Зимина в отечественной историографии только с одним историком – Ключевским; недаром Зимин так его уважал и любил. По скрупулезности источниковедческого исследования, по интересу к генеалогии, то есть к людям в истории, я могу сравнить Зимина только со Степаном Борисовичем Веселовским. Говоря о советской исторической науке, Зимин как-то заметил: "Классиков-то у нас много, а историк один – Степан Борисович".

Александр Александрович прожил по современным меркам недолгую жизнь: он умер через три дня после своего шестидесятилетия. Но сделанного им хватило бы на куда больший срок.

Зимину была дорога мысль, которую он часто повторял в своих беседах: *плохой человек не может быть хорошим историком*. Зимин иногда разъяснял, что такой историк на собственном опыте будет искать только низменные мотивы в действиях людей прошлого. Мне кажется, эта мысль шире: плохой человек не только не в состоянии бескорыстно служить истине (в исторической науке, как мы видели, это служение почти всегда требует мужества), но он не любит людей. Они для него лишь фигуры на шахматной доске, объект для игры ума, упражнений логического мышления. Своим примером Зимин показал, какие плоды дает сочетание таланта, трудолюбия и горячего, неравнодушного сердца.

Другой историк, ушедший от нас почти в том же возрасте – пятидесяти девяти лет, – **Натан Яковлевич Эйдельман**. Не помню, когда мы с ним познакомились, ведь мы учились на соседних курсах – он поступил в университет в 1947 году, я – годом раньше. Мне кажется, мы знали друг друга всегда. Долгое время Эйдельмана воспринимали, скорее, как талантливую популяризатора, чем как исследователя. В самом деле, под псевдонимом "Н. Натанов" (сам он

еще не был уверен, что популярные книги – это серьезно, и берет тогда свою подлинную фамилию для чисто академических изысканий) он выпустил книгу для детей "Путешествие в страну летописей" – о "Повести временных лет" и о великом ученом Алексее Александровиче Шахматове, создавшем методы текстологического изучения памятников древнерусской письменности, и в первую очередь летописей. Книгу, которую, несмотря на жанр и адресата, я постоянно рекомендую студентам. Хотя по своей научной специальности я вроде ближе к летописям, чем Эйдельман (поэтому я по его просьбе даже рецензировал рукопись книги для издательства), она мне дала очень много. Но все же это было не исследование, а сделанная на исключительно высоком уровне популяризация.

Эйдельмана интересовало все, и он всем увлекался. Многие его популярные книги – результат такого увлечения. Например, однажды он написал на совершенно неожиданную тему: о происхождении человека, об истории антропологии. Но я не был удивлен таким поворотом в его творчестве: задолго до того при встречах в читальном зале, на улице он, захлебываясь, с восторгом рассказывал о последних работах по антропологии, об опытах над обезьянами, о которых прочитал.

Но главной темой Эйдельмана-ученого была Россия XVIII-XIX веков. Я уверен, что читатель этой книги знаком с произведениями Эйдельмана о декабристах Лунине и Муравьеве-Апостоле, о тайных корреспондентах герценовской "Полярной звезды", о времени Павла I ("Грань веков"), с романом об Иване Ивановиче Пущине "Большой Жанно", с трудом о замечательном русском историке Н. М. Карамзине ("Последний летописец"), с изысканиями о Пушкине, наконец, со сведенными в одну книгу глубокими размышлениями о судьбах реформ в России – "Революции сверху"... Потому-то я позволю себе не останавливаться на его выводах, а попытаюсь охарактеризовать в целом его творчество. Это не так легко: много уже написано, сказано о нем, да и отсутствие дистанции мешает. Слишком хорошо помнится сам Натан (мне трудно писать о нем официально, как о Натане Яковлевиче): легкий в общении, жизнерадостный человек, лишенный напрочь комплекса знаменитости, добрый и веселый товарищ. И все же попытаюсь.

Эйдельман – это прежде всего удивительный человеческий феномен. Он обладал редко сочетающимися в одном человеке талантами: скрупулезный, дотошный исследователь, не вылезающий из архива, строгий ученый: и вместе с тем – настоящий писатель. Дело здесь не только в неповторимом ярком стиле, редком умении увидеть за деталью и через деталь общее, разглядеть в прошлом большие общечеловеческие проблемы. Натан, как никто другой, умел посмотреть на предмет своего исследования с разных, подчас неожиданных сторон. Вспомним хотя бы его книгу о Карамзине. Обычно этот историк представал перед читателем либо как обладающий хорошим стилем реакционер, сторонник и проповедник самодержавия, "представитель дворянской историографии", либо как великий патриот, совершивший бессмертный подвиг. В обеих точках зрения заключена частица правды, их же простое механическое объединение ("с одной стороны" и "с другой стороны") плоско и тривиально. Эйдельман увидел в Карамзине прежде всего честного человека. Порядочный, убежденный сторонник самодержавия не мог не стать неудобным для самого самодержавия – вот, пожалуй, главная мысль книги Эйдельмана. Мысль не априорная, а вытекающая из всей ткани повествования. Неожиданные сопоставления, парадоксальные на первый взгляд рассуждения уводят мысль читателя книг Эйдельмана далеко за пределы непосредственного повода для них, заставляют задумываться над самыми главными вопросами жизни. Книги и статьи Эйдельмана в годы застоя показывали читателю (в этом, думаю, секрет их популярности), что есть на свете такие понятия, как честность, порядочность, служение истине. А ведь прожил Эйдельман нелегко. Он был студентом, когда в сталинском лагере оказался его отец, впоследствии реабилитированный (к счастью, не посмертно). В 1957 году арест грозил и самому Натану: он был дружен с участниками так называемой "группы Краснопевцева" – одного из первых диссидентских кружков, возникшего еще в период "оттепели", выступавшего за более решительное движение нашего общества по пути демократизации, в том числе и в идеологии. Члены группы получили сроки – от шести до десяти лет лагерей, Натан чудом уцелел, но был исключен из комсомола, уволен с работы. В сочетании с пресловутым "пятым пунктом" его анкета и в последующие годы не давала ему возможности стать штатным

научным сотрудником, преподавателем вуза. Боже мой, сколько талантов теряет зазря наша страна, каким украшением университета были бы лекции и семинары Эйдельмана! Но эта грань его таланта оказывалась ненужной и невостребованной.

И все же и Зимин и Эйдельман прожили короткие, но счастливые жизни, были счастливыми людьми, потому что хорошо делали дело, которое любили. И могли сказать о себе словами Пушкина: *"Твой труд тебе награда; им ты дышишь"*. Как Веселовский в сталинские времена, так и Зимин и Эйдельман и другие в годы застоя спасали честь отечественной исторической науки.

Сегодня же, во времена гласности, в науке, слава богу, идет свободная борьба мнений. Исчез сковывающий страх, что написанное окажется несоответствующим духу, а то и букве *"единственно верного научного учения"*. Мягче и деликатнее стали редакторы: им теперь тоже нечего бояться.

ПРАВИЛА НАУЧНОЙ ИГРЫ

Именно поэтому сегодня важнее, чем когда бы то ни было, оказался вопрос о научном качестве нашей продукции, о ремесле ученого-историка, о тех правилах научной игры, которые мы все обязаны соблюдать в своем творчестве не менее строго, чем шахматисты – правила игры в шахматы.

Вопрос этот стоит тем острее, чем рост интереса к истории в обществе плодит множество дилетантов, пробующих силы в писании работ по истории, которые нередко оказываются опубликованными. Здесь и математики, и физики, и инженеры, которым кажется, что, прочитав Карамзина, Соловьева и Ключевского, они уже стали историками, да к тому же и независимыми. Здесь и серьезные, талантливые и по-настоящему прогрессивные публицисты, которые походя пишут как об открытиях об общеизвестном или аргументируют как истиной устаревшими или не нашедшими признания в научной среде выводами. Всех их подводит одно убеждение: знание фактов и начитанность в общей литературе они считают вполне достаточным условием для исследовательской работы в области истории. Между тем гораздо важнее другое, что дается только напряженным трудом, серьезной школой, – овладение методикой научного исследования. О ней и пойдет речь.

Часто можно услышать: историк, как и всякий ученый, должен прежде всего быть верен фактам, основываться на фактах. Но для

широкой публики в тени обычно остается другой вопрос: а откуда историк берет эти факты, как он их добывает? Совершенно естественно, что каждый из нас узнает о тех или иных фактах истории не только научным путем. Скажем, об Отечественной войне 1812 года человек сначала услышал от своих родителей или старших родственников, потом прочитал о ней в детских книгах, в школьном учебнике истории, наконец, в романе Льва Толстого; увеличило его знания и посещение музея. Только если этот человек станет научным работником, специалистом по истории России XIX века, он будет вчитываться в донесения Кутузова и Баркляя-де-Толли, переписку современников, рескрипты Александра I и приказы Наполеона, в дневники и мемуары и в другие исторические источники. Разумеется, каждому из нас не нужно сидеть над летописями, чтобы узнать о Куликовской битве. Но все же общество в целом знает и о войне 1812 года, и о Куликовской битве, и всех других событиях отечественной и мировой истории только из исторических источников.

Не берусь давать строгое научное определение историческому источнику: и потому, что это не соответствовало бы избранному здесь жанру, и по другой, может быть, более веской причине. Помню конференцию историков-источниковедов в Новороссийске, на которой в течение целого дня с перерывом на обед спорили: как определить, что такое исторический источник. Мне иногда приходит в голову еретическая мысль, что в нашем стремлении к точным дефинициям отразилась традиция семинарской схоластики, воспринятая семинаристом Джугашвили за то недолгое время, когда он обучался в этом учебном заведении. Мне представляется, что источник – это любой текст, любой предмет, любое явление, из которых мы узнаем о прошлом. Мне приходилось больше заниматься письменными источниками. На их примере и попытаюсь разобрать современные представления об источниках.

Источником может стать любой текст, но только в зависимости от целей исследования. В самом деле. Эта книга – отнюдь не источник для большинства сведений, которые в ней содержатся, она сама основана на источниках. За одним исключением. Несколько раз на протяжении этого очерка я позволил себе обратиться к собственным, личным воспоминаниям. В этих случаях читатель получает в руки мемуарный источник.

Не льщу себя надеждой, что когда-нибудь моя личность станет предметом научных изысканий. Но если бы эту книгу написал ученый более высокого класса, оставивший более глубокий след в науке, то для будущего историографа, изучающего его творчество, эта книга оказалась бы источником. Источником она станет и для того исследователя, который будет изучать общий уровень исторической науки и представлений историка о своем труде, существовавшие в 90-х годах XX века, на шестом году перестройки. Станет текст источником или нет, зависит не только от цели исследования, но и от того, насколько сохранились другие источники о том или ином времени, по тому или иному вопросу. Так, например, чтобы изучить национальный состав города XIX-XX веков, исследователь обратится к документам, регистрирующим его жителей, к данным переписей населения и т. п. Историк же античности будет скрупулезно изучать особенности обряда погребения на городских кладбищах и анализировать имена на надгробных плитах. Большой материал для характеристики социального строя Древней Греции историки извлекают из поэм Гомера – "Илиады" и "Одиссеи". Отсюда и идет термин – "гомеровская Греция", тот период ее истории, о котором мы знаем по Гомеру. Естественно, речь идет не об историчности хитроумного Одиссея и его встречи с одноглазым циклопом Полифемом. Историк помнит, что перед ним – поэма. Но из отдельных штрихов, вроде описания судна Одиссея или выступления Терсита на народном собрании, выступают многие конкретные жизненные ситуации и черты быта.

Так и чисто литературное произведение, если в распоряжении историка нет ничего другого, оказывается историческим источником. В наши дни нам нет необходимости, скажем, из поэмы А. Т. Твардовского "Василий Теркин" извлекать сведения о конкретном ходе Великой Отечественной войны. И о том, например, что советские солдаты зимой были обуты в валенки, мы знаем не из разговора Теркина со стариком крестьянином:

*Позволь, товарищ,
Что ты валенки мне
хвалишь?
Разреши-ка доложить.
Хороши? А где сушить?*

Но если бы свершилось нечто, к счастью, невозможное и исчезли бы все источники, говорящие о Великой Отечественной войне, кроме поэмы Твардовского, то и "Василий Теркин" стал бы историческим источником.

Овладение ремеслом историка состоит в умении находить в источнике необходимую информацию. Попытаюсь продемонстрировать этот путь исследования на примере одного достаточно хорошо известного сообщения Ипатьевской летописи, датированного 1147 годом. Речь в нем идет о том, что ростово-суздальский князь Юрий Владимирович по прозвищу Долгорукий пригласил на встречу своего союзника по междоусобной борьбе чернигово-северского князя Святослава Ольговича для переговоров и послал к нему гонца со словами: *"Приди ко мне, брате, в Москов"*. Здесь он и устроил в честь гостя *"обед силен"* [45]

Что ж, сообщение на первый взгляд малозначительное и тривиальное: много было княжеских междоусобиц (а Юрий Долгорукий, князь-хищник, был их активным участником), немало было и встреч князей друг с другом, порой гораздо более важных. Привлекло же это известие особое внимание тем, что до этой даты, до 1147 года, слово "Москва" ни разу не упоминалось в текстах исторических источников. Это первое летописное упоминание о Москве. Поэтому с 1147 года мы ведем отсчет истории города и принимаем эту дату условно за дату "основания Москвы". (Как видим, на самом деле никакого основания в 1147 году не произошло: просто в науке принято считать условной датой основания города, если нет датированных сведений о его начале, тот год, когда он впервые упомянут в источнике, уже из самого сообщения видно, что Москва существовала и до 1147 года.)

Но из этого краткого сообщения можно узнать и больше, оно позволяет в общих чертах представить себе, какой была Москва в середине XII века. Встреча князей состоялась в начале апреля: в среднерусских краях это еще достаточно холодное время, кое-где в лесах даже сохраняется нестаявший снег. Ночевать в такую погоду в шатрах (тогдашних палатках) не очень уютно. А ведь у князя Юрия, естественно, был достаточно большой выбор места для встречи в пределах юго-западной окраины своего княжества. Следовательно, остановив свой выбор именно на Москве, Юрий знал, что сможет разместиться здесь достаточно комфортно и сам со своей дружиной и оказать гостеприимство союзнику, разумеется,

тоже с дружиной. Для пира были нужны припасы. Некоторые на месте нельзя было найти: виноградные вина, которые доставляли на Русь из Крыма и Византии, "импортировавшиеся" оттуда же, с юга, фрукты, "*овощеве различные*", как называл их летописец. Но мясо, молоко, овощи было бы странно везти за десятки верст: они должны были быть на месте. Следовательно, Москва была уже достаточно крупным пунктом, с налаженным княжеским хозяйством, где было немало скота и существовали большие кладовые.

Такой анализ летописного сообщения подтверждается и материалами, добытыми археологами. Например, при раскопках в Московском Кремле обнаружили остатки укреплений рубежа XI-XII веков, то есть возведенных примерно на полвека раньше, чем Юрий Долгорукий пировал здесь со Святославом Ольговичем.

Опрос источника – дело не такое простое, как может показаться не искушенному в исторической науке человеку. Историк всегда необходимо учитывать, когда создавался источник и почему, какой информацией располагал его автор, какие цели он ставил перед собой. Летописи и хроники, воспоминания и правительственные сообщения, то есть источники повествовательные или, как иногда говорят, нарративные (от латинского *narro, narrare* – рассказывать), всегда тенденциозны, всегда ставят перед собой цель убедить в чем-то читателя. Это по принятой в науке терминологии "историческое предание", те тексты, в которых прошлое сообщает нам о том, о чем хочет сообщить. Не буду говорить подробно об анализе тенденциозных источников, ибо его примеры читатель найдет в очерке "Гробница в Московском Кремле", помещенном в этой книге. Остановлюсь лишь на двух моментах.

Во-первых, слово "тенденциозность" в научном языке имеет несколько иное значение, чем в бытовом: в нем звучит не обвинение, а лишь констатация субъективности, неизбежной для каждого живого человека. Тенденциозность – еще не фальсификация. Во-вторых же важно, что сама тенденция источника – это тоже факт истории и, следовательно, объект изучения. Исследование тенденции источника помогает лучше представить себе и политическую борьбу прошлого, и социальную, общественную психологию, и системы ценностей разных эпох и разных общественных групп.

Приведу лишь один пример. В древнейшей русской летописи, в "Повести временных лет", записан легендарный рассказ о том, как

апостол Андрей Первозванный занимался миссионерской деятельностью на пути "из варяг в греки". Поднявшись вверх по Днепру и дойдя до места будущего Киева, "гор Киевских", он благословил эти горы и сказал своим ученикам, что здесь Господь воздвигнет великий город, что "на сих горах" воссияет благодать Божия, и водрузил крест. Летописец рассказывает об этом предсказании с восторгом, и металлические ноты слышны в его голосе. Но вот Андрей достигает территории ильменских славян, где впоследствии возникнет Новгород Великий. Здесь апостол уже ничто не благословляет, а лишь с удивлением наблюдает "бани древены", которые раскаляют докрасна, людей, которые хлещут себя вениками – "прутьем младым", обливаются "квасом усниняным" – кислотой для дубления кожи, бьют себя до того, что слезают (видимо, с полка) еле живы, обливаются водою студеной и "тако можиут". "И то творят по вся дни, не мучими никими но сами ся мучат. И то творят мовенья себе, а не мученья". Нет, летописец ничего дурного о новгородцах вроде и не сказал. Но если посещение апостолом "гор Киевских" стало поводом для торжественного пророчества, то посещение новгородской земли – лишь для юмористического изображения заимствованной у угро-финских племен парной бани. Если же припомнить, что летописный текст в дошедшем до нас виде создавался в Киеве в XII веке, то мы увидим, что и к этому времени на Руси не была еще изжита межплеменная рознь.

Доказательство тому мы найдем и в других рассказах летописца. Крайне недоброжелательно относится он ко многим восточнославянским племенам – и к древлянам, и к вятичам, и к радимичам, которые "живут в лесе, яко и всякий зверь" и "ядят все нечисто". Зато поляне, племя, живущее вокруг Киева, – это "мужи смыслени" [46] Не эти ли натянутые отношения между разными племенами (или, вероятно, точнее – племенными союзами) послужили одной из предпосылок для раздробления Руси на отдельные княжества как раз в эти же времена, в конце XI – начале XII века? Так изучение даже явно недостоверных и тенденциозных рассказов летописца помогает нам лучше понять жизнь того времени, когда это писалось.

Но вот перед историком не летопись, не воспоминания, а документ. Не "историческое предание", а "исторический остаток", попавший нам в руки кусочек прошлого. Создатели документа были

озабочены делами своих дней и не ставили себе задачей рассказать нам о себе. Привычной нам тенденциозности нет. Если перед нами не фальшивка, мы можем быть уверены, что Иван действительно продал свою вотчину Петру, а Семен действительно составил завещание, лежащее перед нами. Но возникает существенный вопрос: а насколько этот документ и соответственно отраженная в нем ситуация типичны? Чем вызвана та или иная степень сохранности документов такого рода? Опять обращусь к примеру.

От XV-XVI веков до нас дошло немало приговоров по судебным спорам о земле между крестьянами и монастырями. Все эти тяжбы заканчиваются в пользу монастырей. Отсюда исследователи часто делали простой вывод: монастырь – это феодал, хотя и коллективный, феодалы покушались на крестьянские земли, захватывали их, а феодальный суд, стоя на страже интересов своего класса, решал дела всегда в пользу феодала, а не крестьянина. Правда, оставались некоторые неясности. Во-первых, почему, если крестьяне по опыту знали, что их обращения в суд останутся безрезультатными (а они как современники лучше, чем мы, сегодняшние историки, знали нравы и обычаи своего времени), они тем не менее без всякой надежды на успех подавали челобитные, учиняли монастырям иски, шли для этого на большие расходы? Только из чистого правдоискательства? Сомнительно. Крестьяне – люди практические. Недаром народ создал поговорку: *"Плетью обуха не перешибешь"*. Второе обстоятельство: в сводах законов конца XV – XVI века, Судебниках 1497 и 1550 годов для исков крестьян к феодалам предусмотрен льготный, двойной срок исковой давности. Законодатель, следовательно, учитывал, что крестьянину труднее, чем феодалу, собрать необходимые документы, и облегчал его положение.

Как же разрешить это противоречие? Ларчик открывается довольно просто. В России XV-XVI веков судебный приговор именовался *"правой грамотой"*, ибо выдавался на руки только одной стороне – той, которая выиграла дело, признана правой. Ведь проигравшему приговор был не нужен: не создавал для него никаких имущественных прав. Архивы же крестьянских общин не сохранились. Зато сохранились монастырские архивы. Таким образом, в руках у историка есть приговоры лишь по тем делам, которые завершились в пользу монастырей.

Это логическое построение подтверждается фактами. Известно, что правительство покровительствовало землевладению *"государевых служилых людей"*, дворян, которые выходили на государеву службу: вотчины и поместья были для них материальным обеспечением их участия в военных действиях, заменяли денежное жалованье, которого в те времена почти не платили. Поэтому правительство всегда старалось ограничить монастырское землевладение, чтобы земля *"не выходила из службы"*: ведь монастыри платили в казну деньги, но не выставляли воинов-профессионалов. Тем не менее по спорам между светскими феодалами и монастырями до нас также не дошло ни одного судебного решения не в пользу монастыря: дворянские архивы XVI века не сохранились. Более того, известен случай, когда тяжба шла между двумя монастырями, архивы которых сохранились в равной степени хорошо. Приговор – *"правая грамота"* – дошел до нас только в составе архива того монастыря, который выиграл дело.

Немало труда приходится затратить историку, чтобы установить сами факты. Это нелегко. Труднее всего, разумеется, обстоит дело с древнейшими периодами истории: чем дальше от наших дней, тем меньше источников имеет историк в своем распоряжении, тем чаще ему приходится ловить их случайные обмолвки, порой восстанавливать общую картину по отдельным деталям. В этих случаях от историка требуется определенное мужество: и для того, чтобы иногда сказать *"не знаю"*, а иногда предупредить и читателя, и в первую очередь самого себя о том, что гипотеза, которую ты создал, сложное логическое построение, которым так гордишься, – не единственно возможные. Мне кажется, есть один очень хороший тест на профессионализм историка (должно быть, не только историка, а всякого научного работника, но я знаю историков). Если автор часто употребляет слова *"несомненно"*, *"с уверенностью можно сказать"* и т. п., его профессионализм под большим вопросом. Напротив, для дилетанта, которому, как правило, все всегда ясно (имею в виду лишь того дилетанта, который не сознает своего дилетантизма), не типичны такие выражения, как *"возможно"*, *"не исключено"*, *"быть может"*.

Трудности в установлении фактов относятся не исключительно к древнему периоду, а даже к истории совсем недавнего прошлого. Не только по злой воле или из-за трусости историков до сих пор до конца не исследованы *"неназываемого века недоброй памяти дела"*

(Твардовский) . Например, весьма противоречивы и отличаются друг от друга во многих, порой достаточно существенных, деталях воспоминания об аресте Берия в 1953 году, исходящие от разных, в том числе и от самых главных, участников событий. В последнее время опубликовано немало мемуаров об обстоятельствах переворота 1964 года, свергнувшего со всех постов Н. С. Хрущева. Но, чтобы установить подлинные обстоятельства этого исключительной важности события, требуется большая кропотливая работа по сопоставлению разных версий. И наконец, совсем уже близкое время: с какими трудностями столкнулась комиссия Верховного Совета СССР, чтобы восстановить процесс принятия решений, приведших к гибели мирных людей в Тбилиси 9 апреля 1989 года. До сих пор не прояснены многие противоречия в показаниях свидетелей и участников. Вспомним хотя бы полемику между Э. А. Шеварднадзе и Е. К. Лигачевым, между тем же Лигачевым и А. А. Собчаком.

Сразу возникает вопрос: а архив? Секретность в наших архивах, недоступность для исследователей очень многих важных фондов, относящихся к XX веку, привели к тому, что в обществе созрело убеждение: откройте все архивы, и вся правда выйдет наружу. Ах, если бы все было и впрямь так просто! Ведь архивных дел – десятки тысяч, сотни тысяч и миллионы страниц, их надо еще прочитать и сопоставить, надо знать (на то и профессионализм историка), в каком фонде, а внутри фонда – в каком деле может найтись документ, дающий ответ на твой вопрос.

Но главное – в архивах-то есть далеко не все. Вспомним опять события в Тбилиси. Ведь не велась даже протокольная запись, не говоря уже о стенограмме того заседания, на котором решался вопрос о применении военной силы в Тбилиси. А ведь протокол – уже только изложение того, что говорилось, сделанное секретарем заседания, а не реально произнесенные его участниками слова. Нет и записей телефонных переговоров между ЦК КПСС и ЦК КП Грузии, а собеседники пока не жаждут поделиться воспоминаниями. Ни в каких архивах не сохранились и те личные, сугубо конфиденциальные беседы, которые вели между собой с глазу на глаз главные участники событий, руководители государства и партии. А были бы стенограммы? Ведь они тоже не такой уж объективный источник, как может показаться: ошибки стенографистки в неправленной стенограмме, редактирование текста

оратором, чтобы сделать выступление более причесанным и благопристойным. Стенограммы неадекватно отражают реакцию слушателей на слова выступающих (например, в стенограмме – "аплодисменты", но неизвестно, большинство или меньшинство зала аплодирует, какие именно депутаты или делегаты аплодируют, а какие выражают неудовольствие). За пределами стенограммы остаются интонация, мимика и жесты ораторов, которые могут иметь порой значение не меньшее, чем сами слова.

Сложность постижения истины ясно видна на примере вопроса, который много обсуждается в нашей публицистике и, к сожалению, реже в исторической литературе, – о числе жертв сталинских репрессий.

Конечно, тот или иной ответ на этот вопрос не меняет общей оценки преступной политики Сталина и его присных. Нельзя утверждать, что уничтожить, скажем, 10 миллионов допустимо, а двадцать – преступно. Преступление – погубить одну невинную жизнь. Но все же даже сама память о жертвах требует, чтобы мы знали, сколько их было. Оставим в стороне те или иные недобросовестные попытки манипулировать цифрами в угоду заранее принятым схемам. Подумаем о тех трудностях, которые встают перед настоящим, честным историком. Ведь методика таких подсчетов может быть очень разной. Включать ли, например, в число казненных, говоря военным языком, безвозвратных потерь жертвы голода начала 30-х годов? С одной стороны, их смерть – прямой результат сталинской политики, с другой – их не расстреливали, не вешали, даже не арестовывали. А люди, гибшие при депортациях? Мы знаем, что и от тяжелых условий перевозки, и от не менее тяжелых условий жизни на месте ссылки гибло иногда до половины, а то и больше и раскулаченных, и "наказанных народов". Казалось бы, мы вправе присоединить их к числу казненных. Но ведь сначала надо установить, какова была бы естественная смертность, если бы не было депортации. Совершенно ясно, что высылка в скотном вагоне, почти без еды и питья, без медицинской помощи, в стужу семидесятилетнего старика ускоряла его смерть. Но когда бы она последовала в нормальных условиях? Может быть, двадцатью годами, а может быть, всего неделей-двумя позже?

Тот же вопрос возникает и относительно узников ГУЛАГа: в нечеловеческих условиях многие, а порой и большинство погибали

там всего за несколько месяцев. Почти каждый из оставшихся в живых после политических лагерей – случайно уцелевший.

Не говорю здесь о других сложностях: плохо сохранились архивные материалы (например, на оккупированной гитлеровцами территории они были просто сожжены) . Нелегко установить точное число расстрелянных еще и потому, что в приговорах сталинских судов "десять лет лишения свободы без права переписки" были часто словесной (только словесной!) заменой расстрела. А считать ли казненным военнослужащего, несправедливо осужденного во время войны, отправленного в штрафной батальон и погибшего в первом же бою, где шансы выжить были ничтожны? Но ведь он входит и в число жертв войны. А если он был осужден за действительную вину? Ведь все равно он фактически был осужден на казнь. А ведь наказание может и не соответствовать вине (например, человек, не сумевший выполнить боевой приказ, осужден за измену Родине). Вопросы, вопросы, вопросы...

А если попытаться установить число не только казненных, но всех репрессированных? Трудностей не меньше. Многие подвергались "суду" и аресту не один, а два, три и даже четыре раза. В 1949 году был даже целый поток "повторников". Так как это обстоятельство не всегда отражено в итоговых документах, то за счет этих людей общее число репрессированных может возрасти по сравнению с реальными цифрами. Но, с другой стороны, не исключено, что к числу репрессированных надо отнести и их родственников: ведь если они и не были высланы административным порядком, то все равно оказывались людьми неполноправными, подвергались многочисленным ограничениям при приеме в высшие учебные заведения, поступлении на работу, прописке и т.п. Невероятно сложно отделить тех, кто был осужден за уголовные преступления, от незаконно репрессированных по политическим мотивам. Вспомним хотя бы известный указ о заключении на длительные сроки за хищение "социалистической собственности", "указ о трех колосках", как его иногда называют. Можно ли считать ворами, уголовниками полуголодных колхозников, которых отправили по этому указу на лесоповал? Как при масштабе жертв в десятки миллионов историк может разобраться в каждой индивидуальной судьбе и отделить женщину, принесшую своим голодным детям мешок колхозной картошки, от жулика и мошенника, осужденного по заслугам? Ведь у них в деле одна и та же статья!

Итак, хотя архивы открывать, конечно, надо, и мы с этим безбожно запаздываем, но само по себе открытие архивов – не панацея. Главными инструментами добывания истины остаются ум и наблюдательность историка, его умение логически мыслить и сопоставлять факты, его изобретательность в поисках методов извлечения информации из источников.

Вот передо мною объемистый том, опубликованный в 1939 году тиражом 300 тысяч экземпляров: "XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). 10-21 марта 1939 г.: Стенографический отчет". Классический сталинский съезд: делегаты все время встают и стоя аплодируют. Ремарки отчета наполнены публицистической риторикой.

Например, после того как Молотов предоставляет слово Сталину, как сообщает отчет, *"Бурной овацией, стоя, съезд встречает товарища Сталина. На всех языках народов Советского Союза раздаются возгласы: "Да здравствует товарищ Сталин!", "Ура!", "Вождю, учителю и другу товарищу Сталину – ура!", "Да здравствует наш родной, любимый Сталин!". Долго длится овация – выражение беспредельной любви всей партии к своему вождю. Звонок председателя тонет в буре аплодисментов, приветствий съезда"*.

Или другая ремарка: *"Появление на трибуне председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР Вячеслава Михайловича Молотова делегаты съезда встречают бурными овациями. Несмолкаемое "ура" гремит в зале. Все делегаты стоя приветствуют товарища Молотова"*.

Казалось бы, какую правду можно найти в таком официозном документе? Разве что он позволяет лучше понять масштабы официального холуйства.

Не будем торопиться. Правда и здесь вылезает наружу, ибо ее, как и шило в мешке, не спрячешь. В своем докладе Сталин говорит, что *"за отчетный период (с 1934 года . – А.Е.) партия сумела выдвинуть на руководящие посты по государственной и партийной линии более 500 тысяч молодых большевиков, партийных и примыкающих к партии"*.

Но ведь не на пустые места они пришли, эти полмиллиона руководящих работников. Какая-то часть их предшественников умерла своей смертью, ушла на пенсию, но не столько же всего за пять лет! Таким образом, именно эта цифра говорит нам о масштабе

репрессий против руководящих кадров. В выступлениях других делегатов находим подтверждение такого вывода и его конкретизацию. Так, секретарь Московского обкома партии Б. Н. Черноусов приводит такие данные:

"Свыше 60% секретарей горкомов и райкомов партии и подавляющее большинство секретарей парткомов Московской области работают в качестве секретарей меньше года".

А чего стоит такое признание известного сталинского подручного Л. М. Кагановича:

*"Троцкистско-пятакоско-зиновьевско-бухаринским бандитам удалось вовлечь в шпионаж часть хозяйственников. Партия, государство и социалистическое хозяйство очистились от них. В некоторых звеньях приходилось *ñíèìàðü ïî ïáññèîüêî ñèîââ* (курсив мой. – *А.Е.*)"*.

Поразительные цифры привел в своем докладе А. А. Жданов. Оказывается, среди руководящих партийных работников (к ним отнесены все секретари райкомов, горкомов, обкомов, крайкомов и ЦК союзных республик, а также заведующие отделами обкомов и выше – всего 11745 человек) люди с партстажем с 1924 года и позже, то есть не участвовавшие как члены партии ни в революции, ни в гражданской войне, составляли 93 процента, почти столько же – 92 процента были в возрасте моложе 40 лет. Куда же делись старые кадры, как они освободили место? На пенсию им было уходить рано. Из материалов XVIII съезда вытекает: состав руководства партии между 1934 и 1939 годами полностью обновился.

Масштаб репрессий против партийно-государственного аппарата вызывал, видимо, некоторое глухое недовольство в самом аппарате: слишком уж ненадежным стало положение функционеров. Сталин прибег к своему обычному шулерскому приему: разгул репрессий он свалил на врагов (Ежов и его подручные) и недоумков, на "перегибы". Так же, как в годы коллективизации в статье "Головокружение от успехов" Сталин приписал излишнему усердию местных работников результаты собственных указаний. Аналогичный спектакль был разыгран и на съезде.

Мрачное впечатление производят палачи, произносящие на съезде страстные речи о недостаточном внимании к рядовым коммунистам, о необоснованных репрессиях. Но перед нами сейчас исторический источник, наша задача не давать волю эмоциям, а анализировать

факты, которые приводят эти люди. Факты тем более убедительные, что они содержатся в официальных партийных речах ближайших приспешников Сталина, а не в воспоминаниях пострадавших или в эмигрантской печати.

Вот, например, Л. З. Мехлис, стоявший тогда во главе Главного Политического управления Красной Армии, неумолимо восторгается тем, как под руководством товарища Сталина наша армия очистилась от своего командного состава. *"Грязь, накипь мы будем смывать каждый день. Врагов и изменников будем уничтожать, как бешеных собак"*. Но уже на следующей странице стенографического отчета в той же речи читаем: *"Мы должны признать, что количество неправильно исключенных из партии очень велико"*. В связи с этим Мехлис рассказывает такой, по его словам, "дикий случай": *"Уполномоченный особого отдела одного полка заявил комиссару, что он хочет забрать начальника клуба политрука Рыбникова. Комиссар Гашинский шепнул об этом партийной организации, и Рыбников был исключен низовой парторганизацией из партии. Вскоре выяснилось, что Рыбников неплохой большевик и что особысты хотели взять его... к себе на работу. Ошибка была исправлена, но тов. Рыбников порядочно поволновался"*. Итак, порядки таковы, что достаточно особисту сказать комиссару, а тому "шепнуть" в парторганизацию, ни слова не говоря о причинах, по которым политрука собираются "забрать", чтобы он был исключен из партии.

Еще более яркими фактами наполнен доклад Жданова. Вот он цитирует "показания" одного из бывших украинских секретарей обкома (раз "показания", значит, секретарь уже "разоблачен как враг народа"):

"В течение 5-6 дней я разогнал аппарат обкома, снял почти всех заведующих отделами обкома, разогнал 12-15 инструкторов и заменил даже технический аппарат обкома... После "расчистки" аппарата обкома под тем же флагом я приступил к разгону горкомов и райкомов. За короткое время снял с работы 15 секретарей и целый ряд работников, на которых никаких компрометирующих материалов я не имел".

Некто Ханевский из Киевской области, оклеветавший много коммунистов, написал в обком: *"Я выбился из сил в борьбе с врагами, а поэтому прошу путевку на курорт"*. Жданов

рассказывает о секретаре парткома Иркутского облзо (земельный отдел) Нефедове, который разбил членов партии на три группы:

"Первая фигура, если сильно активничает, значит, его проверять надо, наверняка дорожка ведет к врагу.

Вторая фигура, если есть у него "багаж", тяжелая гиря, то ясно, что он будет отставать, гиря ему мешает, учесть тоже надо, проверить, и дорога, видимо, тоже поведет к врагу.

И третья фигура, когда найдем человека, который работает не за совесть, а за страх, то наверняка не прогадаешь – враг".

Секретарь райкома партии из Архангельской области Гладких "давал задания каждому коммунисту найти врага народа и предупредал заранее, что "перегибов от этого никаких не будет".

А заведующий райпарткабинетом из Красноярского края Алексеев "завел себе список со специальными графами: "большой враг", "малый враг", "вражек", "враженок" [47].

Ах, товарищ Жданов, не о себе ли вы говорили, не вы ли прославились такой борьбой с "врагами народа" в Ленинграде, Уфе, Казани, Оренбурге? Но это уже рассуждения из другой области, нас же сейчас интересует даже не та картина, которая вырисовывается из официального документа сталинского времени, а методика, которую может применить историк, чтобы воссоздать эту картину.

С этой точки зрения для историка не существует источников хороших и плохих, достоверных и недостоверных: в каждом источнике так или иначе отразилась какая-то частица исторической действительности.

Впрочем, я уже слышу возражение: а фальшивки?

В самом деле, столько, сколько существует письменность, существуют и подложные документы. И характер, и мотивы подлога (а они тесно связаны) могут быть очень разными. Нередко фальшивый документ изготавливает современник, чтобы извлечь материальную выгоду: он подделывает документ о покупке земли, квитанцию об уплате налогов, документ об образовании и т. д. Но документы подделывают и по идеологическим и по политическим мотивам. В этом случае появляются то якобы старинная рукопись, то современный политический документ. Более того, сами мотивы могут даже показаться благородными. Так, чешский ученый Ганка, чтобы доказать древность и высокий уровень культуры родного чешского народа, сфабриковал так называемую "Краледворскую рукопись", содержащую старинные чешские сказания и легенды.

Кстати, сегодня творение Ганки изучается как памятник чешской литературы XIX века, ибо художественный уровень его подделки был достаточно высоким, как и песен древнего шотландского барда Оссиана, сочиненных в XVIII веке поэтом Макферсоном. К такого же рода подделкам (но уже с куда менее благородными мотивами у фальсификаторов) можно отнести многочисленные грамоты великих князей и царей, данные дворянам за их верную службу, которые усиленно сочиняли в XVIII веке отпрыски дворянских родов, стремясь удревнить свое происхождение и сделать пышнее родословную.

Некоторые подделки такого рода носят ярко выраженный клеветнически-политический характер, направлены на компрометацию политических или идеологических противников. Так, в начале XVIII века по заказу иерархов Православной церкви было изготовлено "Соборное деяние на еретика армянина Мартина Мниха", якобы решение Собора русских епископов, состоявшегося в XII веке и осудившего ересь армянина Мартина, основные положения которой полностью совпадали с тем, что отстаивали старообрядцы. Миссионеры официальной церкви стали уличать бунтарей-старообрядцев в том, что их "ересь" – не защита старины, ибо была осуждена еще шесть веков тому назад. За анализ "Деяния" взялся один из образованнейших вождей старообрядчества Андрей Денисов (князь Андрей Денисович Мышецкий) и в своем труде "Поморские ответы", применив множество остроумных источниковедческих приемов, доказал подложность "Деяния". С тех пор "Поморские ответы" стали любимым чтением старообрядцев, а руководители официальной церкви вынуждены были забыть о загадочном "Мартине Мнихе".

Аналогичный характер носят так называемые "Протоколы сионских мудрецов", родившиеся в недрах царской охраны в начале XX века как подспорье для антисемитской пропаганды и борьбы с революционным движением. В "Протоколах" шла речь о некоем собрании руководителей мирового еврейства – "сионских мудрецов", составивших план завоевания мирового господства при помощи "разрушительной" пропаганды. Эту фальшивку активно использовали в гитлеровской Германии, а сегодня ее взяли на вооружение руководители общества "Память" и объединения "Отечество". Один из руководителей "Отечества" профессор Московского государственного педагогического института

А. Г. Кузьмин, член редколлегии журнала "Наш современник", даже публично высказался за переиздание этой антисемитской фальшивки. Таковую публикацию уже запланировал на 1991 год * "Военно-исторический журнал": не иначе как для улучшения межнациональных отношений в наших вооруженных силах.

* Писалось в 1990 году. (İðèìá÷. ðää.)

Если подделки, создаваемые современником документа для извлечения материальной пользы, действительно малоинтересны для историка (если их тогда же разоблачили, то историк может выяснить, какими методами велась борьба за собственность, изучить способы экспертизы документов в период, когда была создана фальшивка), то документы, создаваемые потомками, крайне интересны. Ибо они хорошо отражают ту эпоху, когда были изготовлены: скажем, амбиции и социальную психологию дворянства, позицию клерикалов, деятельность полиции по борьбе с революционным движением, национальную политику царского правительства и т. д.

Наконец, есть еще один вид подделок: изготовление "ценного исторического памятника" для продажи коллекционеру, музею, библиотеке. В первой половине XIX века на такого рода фальшивках специализировался московский купец А. И. Бардин. Более бескорыстным был живший тогда же в Петербурге отставной гвардейский офицер А. И. Сулакадзев: он не продавал свои крайне неумело сделанные подделки, а только хвастался ими и пытался на их основании делать "научные открытия".

Впрочем, среди такого рода неподлинных документов встречаются и не фальшивки. Так, например, художник-старообрядец Иван Гаврилович Блинов по просьбам купцов-собираателей мастерски изготовлял копии старинных рукописей, которых не хватало в коллекциях. Блинов никогда не скрывал, что делает лишь копии, и даже в конце рукописи обычно делал запись о том, когда переписал "сию книгу" Иван Блинов. Однако точность, с которой Блинов воспроизводил и почерк, и цветовую гамму, и заставки, настолько велика, что его творение можно принять и за древнюю рукопись, особенно если не обратить внимания на бумагу: Блинову не могло удасться подобрать к каждой рукописи однородную бумагу, точно соответствующую времени написания оригинала. При утрате последнего листа с подписью Блинова неопытный сотрудник музея мог принять рукопись Блинова за подлинник.

Подобный конфуз произошел с одним чешским лингвистом, написавшим ценное исследование о языке памятника русской письменности XI века – "Архангельского евангелия", будучи уверенным, что изучает подлинную рукопись, неведомыми путями попавшую в Чехо-Словакию. Однако он держал в руках великолепно исполненное фототипическое издание 1912 года. Издатели, как и Блинов, ничего не фальсифицировали, никого не хотели обмануть, но обман все же произошел.

Могут ввести в заблуждение и талантливые шуточные мистификации, хотя их авторов тоже нельзя отнести к фальсификаторам. Например, знаменитый французский писатель Проспер Мериме повинулся перед Пушкиным, когда узнал, что поэт перевел на русский язык сочиненные Мериме якобы подлинные "песни западных славян" (точнее – южных). Пушкин не только не оскорбился, но, публикуя свою переписку с Мериме, не без удовольствия сообщил, что на ту же удочку попался Адам Мицкевич, "а какой-то ученый немец написал о них (песнях . – В. К.) пространную диссертацию". Актер и писатель И. Ф. Горбунов так вжился в русский язык XVII века, что его шуточное описание путешествия русского боярина в Германию на воды принял за подлинное знаток древнерусской литературы академик Н. С. Тихонравов, удивившись лишь тому, что уже в XVII веке существовала игра в рулетку ("в ралетку", как ее окрестил Горбунов).

Рукописи и тексты, изготовленные в подражание старинным (с целью обмануть или без), обладают одной несомненной ценностью: они позволяют узнать, каков был уровень знаний о древней письменности в то время, когда эти подделки совершились.

Итак, даже фальшивки, при условии, что историк не заблуждается на их счет, исследователь не вправе игнорировать.

Как и многие другие профессии, работа историка издавна, со стороны порой представляется и сравнительно легкой, и романтической. За многие годы работы в вузе я не раз сталкивался с пришедшими на исторический факультет юношами и девушками, испытывавшими чувство острого разочарования. Они читали исторические романы и научно-популярные книги по истории и представляли ее себе как серию ярких событий политической борьбы, остроумных или патетических фраз, произнесенных историческими деятелями. Того же они ждали и от учебы в

институте. А оказалось, что нужно вчитываться в писанные малопонятным древним языком статьи "Русской правды" и на основе их утомительно-тщательного анализа выяснить, чем отличались (и отличались ли) *смерды* от "*людей*", а *холопы* от *челяди*.

Чем дальше в лес, тем больше дров. Углубляясь в научное исследование (хотя бы на уровне семинарского доклада или курсовой работы), молодой человек убеждается, что красивые и стройные концепции рождаются только из фактов, причем не отдельных, но всего их комплекса, а вовсе не из вольного полета мысли. Как писал наш замечательный востоковед И. Ю. Крачковский, "*за минуты синтеза надо платить годами анализа*" [48]. Приходится не только вчитываться в документы, но и подчас заниматься долгими и скучными подсчетами. К тому же каждый документ в отдельности нередко тривиален, малоинтересен, только их комплекс откроет перед историком ту картину жизни, общую характеристику явления, которые он ищет. Но как утомителен этот путь, как порой нудно идти по нему! Но только тот, кто с удовольствием идет по этой дороге, кто радуется не только результату, но и процессу исследования, достигнет успеха. Имею в виду не карьерный и материальный, а настоящий, творческий успех. Опасно для историка пренебрегать этим черновым этапом работы: тогда станешь не исследователем, а парящим над фактами "*размышлителем*". Факт тогда неизбежно превратится из инструмента познания прошлого в подобранное доказательство заранее созданной концепции. А ведь нет ничего проще, чем, используя факты как иллюстрацию, доказать любую, самую вздорную концепцию: достаточно лишь закрыть глаза на другой ряд фактов, не укладывающийся в любезную твоему сердцу схему. Такие априорные схемы, основанные лишь на части фактов, хотя бы сами эти факты и были бесспорными, сеют в обществе ошибочные, а потому и вредные представления о своем прошлом и подрывают доверие и уважение людей к исторической науке.

Например, долгие годы вся наша официальная историческая наука не видела ничего хорошего в жизни дореволюционной России (за исключением внешней политики, которая всегда считалась заслуживающей одобрения). Читая наши учебники, мы могли наблюдать постоянное, из года в год, из века в век "*ухудшение положения трудящихся масс*" и "*обострение классово-вой борьбы*".

Мне было лет семь-восемь, когда я, начитавшийся уже детской популярной литературы по истории, спросил своих родителей:

"Вы жили при царе?"

- "Да" .

- "Как же вы выжили?"

Сегодня возникает противоположный стереотип – сытой, благополучной страны, снабжавшей от собственного изобилия хлебом весь мир. Стереотип, который столь же неверен и односторонен, как и прежний.

Вот передо мною газета "Неделя "Вестника знания" за 1911 год, не слишком политизированное либеральное издание, рассчитанное на мелких служащих, крестьян и рабочих, стремящихся к самообразованию. Читаю письмо читателя из Тульской губернии:

"Жизнь крестьянина незавидна, даже печальна. Жилище его – это изба, кирпичная или деревянная, в 2-4 окна, с низким потолком и малого размера окнами. Пол обыкновенно земляной, от которого при сырости бывает много грязи, а когда сухо, много пыли. Нередко в такой маленькой избе помещается до 15 человек. Это было бы еще хорошо, если бы в доме жили одни только люди. Но на это же помещение имеет притязания и скот, который необходим для крестьянского хозяйства; а чтобы не поморозить приплод, его также помещают в хату, и зиму до тепла крестьянину приходится жить вместе со скотом... И так живет из года в год наш крестьянин, питаясь хлебом, картофелем да водой. От такого изысканного меню в зимнее время дети крестьян ходят с мертвенно-бледными лицами, с ввалившимися глазами и отвисшим большим животом, что красноречиво свидетельствует о скудной пище и жилище, не отвечающих никаким требованиям гигиены".

В другом номере в письме из Гороховецкого уезда Владимирской губернии мы знакомимся с фактами не только печальными, но и отрадными.

Да, "в связи с темнотой и невежеством процветает пьянство, чем в особенности отличаются базарные села. Обыватели этих сел не пропускают ни одного базарного дня, чтобы не напиться. С пьянством развиваются грабежи, кражи, развращаются дети. Они приучаются нищенствовать и даже воровать. В Сергиевской вол. есть деревни, для которых нищенство составляет промысел".

Но вместе с тем: *"Открылись кредитные товарищества в селе Сергиевы Горы, Святе, Фоминке и в дер. Польше. Кооперативное движение все развивается, члены кредитных товариществ считаются сотнями, а нынешним летом открыто еще одно товарищество в с. Гришине. Население все более и более доверяет кредитным товариществам, вклады денежные исчисляются десятками тысяч..."*

Кроме того, *"в глухом селе Сергиевы Горы уже года два устраиваются народные спектакли, разыгрываются любителями драматического искусства преимущественно пьесы А. Н. Островского. Окружающее население заинтересовалось театром и охотно посещает спектакли"* [49]

Итак, перед нами факты, и только факты. Но можно их выстроить в один ряд и говорить о страшной, беспросветной жизни русского крестьянства, а можно – в другой, и писать о великолепной жизни мужика, пользующегося помощью кредитных товариществ и играющего в народном театре. Дело же в том, что в реальной жизни сочеталось и то и другое. Ни нарочито идеализировать прошлое, ни представлять его только в черных тонах нельзя. Жизнь не похожа на черно-белую гравюру. Она – живопись маслом, с разными оттенками и подчас незаметными, тонкими переходами от одного цвета к другому.

По отношению к своему прошлому наше время представляется мне эпохой перевернутых стереотипов. Мы никак не хотим отрешиться от стереотипного мышления как такового, от схематизма и простоты оценок. Мы только меняем плюс на минус и наоборот, превращая былых грешников в праведников, а праведников – в грешников. Но сохраняем само безоговорочное деление на "своих" и "чужих". Детский уровень мышления: те, кто "за нас" и те, кто "против нас"!

На смену старому стереотипу гражданской войны, в которой аскетические герои в черных кожанках самоотверженно сражались против пьянствующих насильников, морфинистов и кокаинистов в золотых погонах, приходит новый, но снова стереотип: чуждые стране садисты и убийцы в черных кожанках и с маузерами в руках с одной стороны и сражающиеся за светлые идеалы *"корнет Оболенский, поручик Голицын"* – с другой. А ведь гражданская война тем и отвратительна, что в ней нет правых и виноватых, что с обеих сторон есть и люди, самоотверженно жертвующие жизнью за

то, что они считают благом для своей Родины, и убийцы, садисты, насильники. Самое же ужасное, что в обстановке раскола страны на два вооруженных лагеря в одном и том же человеке мог уживаться самоотверженный романтик, готовый отдать жизнь за товарищей, и убийца безоружных, но принадлежащих к "чужому" лагерю. "Белый" для красного, "красный" для белого переставал быть человеком.

Историк должен тщательно проверять те факты, которыми он оперирует, чтобы не принять ложный факт за подлинный. Поэтому незыблемый закон для него – черпать материал из источника, из первых рук, не доверяясь сочинениям самых выдающихся, самых честных, самых порядочных историков. Ведь никто не застрахован от ошибки, а научная честность еще не гарантия научной правоты. К тому же каждый историк, создавая концепцию, вольно или невольно, но проводит отбор фактов. Так что и в истории "*свой глаз – алмаз*".

Отношение к факту только как к подпорке для концепции, на мой взгляд, одна из бед нашей науки. Такой подход открывает путь к манипулированию фактами. Вот один достаточно характерный пример. А. Г. Кузьмин в течение долгого времени отстаивал и развивал точку зрения тех ученых, которые полагают, что рассказ о призвании на княжение в Новгород Рюрика и других варяжских князей, сохранившийся в "Повести временных лет", – позднейшая легенда, не имеющая никакого отношения к исторической действительности. Однако в науке накопился материал, заставляющий предполагать, что в варяжской легенде есть, по крайней мере, некоторое рациональное зерно. Вместе с тем А. Г. Кузьмин со временем отказался от взгляда на летописных варягов как на норманнов, скандинавов и присоединился к давно высказывавшейся, но не получившей признания в науке точке зрения о том, что варягами на Руси называли выходцев из славянского Поморья на территории нынешней Германии. Тем самым призвание варягов стало означать приход на Русь не иноземцев-норманнов, а единоплеменников-славян. И А. Г. Кузьмин тут же соглашается принять варяжскую легенду и пишет, что его прежний "*подход логичен, если исходить из представления о "варягах" как скандинавах. Пересмотр этого положения существенно меняет оценку всего предания*" [50]. А. Г. Кузьмин лишь с наивной откровенностью выразил то убеждение, которое

существует у части историков: достоверность фактов, сообщаемых источниками, зависит от того, какую концепцию принимает исследователь. Концепция оказывается важнее фактов. Тем самым утрачивается критерий истинности концепции, а любая фальсификация, любая подгонка фактов под априорные общие суждения становится простым и легким делом.

Но есть еще одно обстоятельство. Мы часто забываем, что факт ценен сам по себе. Задача историка не только в том, чтобы объяснить происходившее, но и в том, чтобы выяснить, что происходило. Ведь людям свойствен бескорыстный интерес к истории. Им важно знать, как жили люди прошлого, в какие отношения они вступали друг с другом, за какие цели боролись, какую одежду носили и какие блюда ели, как любили друг друга, что их радовало и что печалило. Если все это будет нас интересовать исключительно для создания логически выверенной концепции, то история как наука гуманитарная (от *homo* – человек), наука о человеке перестанет существовать, превратившись в социологию прошлого. Человек – это главный и субъект и объект исторического процесса. Обезлюдившая история – следствие сталинского представления о человеке как винтике, замены действий и интересов людей действиями и интересами абстрактных "больших масс".

Поскольку история – наука о людях, то историк не вправе относиться равнодушно к людям прошлого. Он не может не испытывать к ним сочувствия. Если он безразличен к их радостям и бедам, к их успехам и страданиям, то, конечно, сумеет, если обладает умом и трудолюбием, написать немало полезных и даже ценных исследований по конкретным вопросам, но никогда не будет способен решить большие, кардинальные проблемы истории. Логическая, но бездушная схема подменит в его трудах многоцветный, звучащий множеством разнообразных голосов мир.

Здесь мы подходим к еще одной проблеме – большой и не имеющей, вероятно, однозначного решения: историк и мораль. Вправе ли историк вершить суд над людьми прошлого? Нередко возражают: в каждое время существует свое представление о морали, нельзя по одной и той же шкале ценностей судить князя XII века и современного государственно-политического деятеля. Историк прежде всего должен разобраться в мотивах и причинах действий людей прошлого, понять их обусловленность теми или иными

факторами. А суд над историческим деятелем – занятие бесперспективное, обывательское, нарушающее объективность историка.

Что ж, эти возражения до какой-то степени резонны, в них есть немалая доля истины. В самом деле, А. И. Герцен в конце 50-х годов XIX века не подавал руки морскому офицеру, применявшему к матросам телесные наказания. А в XVIII веке мы вряд ли нашли бы хотя бы одного офицера или генерала и в армии и во флоте в России и в других странах (кроме, может быть, революционных армий), который бы не порол солдат и матросов. Так можем ли мы применять критерий середины XIX века к военачальникам XVIII?

А вправе ли мы требовать от Улугбека, одного из наследников Тимура, знаменитого не столько своей политической, сколько научной деятельностью, великого астронома, чтобы его поведение соответствовало тем же нормам морали, права, законности, что и у астронома, жившего, скажем, в Германии XVIII века? Поведение человека во многом обусловлено той средой, в которой он вырос, воспитанием, системой ценностей общества, в котором он живет, социальной группы, к которой он принадлежит по рождению.

И все же было бы опасным заблуждением забывать о том, что есть общечеловеческие, вечные нормы морали. Замена морали общечеловеческой – моралью классовой, "абстрактного" гуманизма – социалистическим, утверждение, что морально все то, что идет на пользу пролетариату и его диктатуре, привели к расшатыванию моральных ценностей общества, к моральному релятивизму.

Да, нередко мы можем осуждать поступки, но не тех, кто их совершал, понимать обусловленность тех или иных малопривлекательных для нас действий особенностями времени и воспитания. Но не оправдывать же под предлогом целесообразности или общей жестокости века бессудные убийства, массовые казни, агрессивные войны, измену и предательство. Иначе мы перестанем быть людьми и не будем вправе претендовать на такое же сочувствие наших далеких потомков к нам, людям жестокого XX века. Изгоняя мораль из истории, мы неизбежно изгоняем ее и из современности. Можно согласиться с Виталием Рубиным, который в 1967 году записал в своем дневнике: *"...история, лишенная нравственного содержания, становится не только занятием пустым и неинтересным, но и занятием в известной степени вредным"* [51].

ЧЕМ ОПАСНА НАША ПРОФЕССИЯ?

Нить моих рассуждений подходит к концу. Осталось объяснить, почему я считаю опасной профессию историка. Опасной не только вчера, но и сегодня, и во все времена. Дело не только в тюрьме, а то и в расстреле, которые не обошли стороной историков в сталинское время. Дело и не только в том, что проработки и изгнание с работы за отступление от идеологических позиций, от "*методологической дисциплины мысли*", как выразился однажды К. У. Черненко [52], грозили историкам всегда. Важнее, что сам историк – дитя своего времени, человек с определенными политическими и идеологическими пристрастиями – всегда рискует: либо, пусть невольно, пусть незаметно для себя, но погрешить против истины ради своих взглядов, либо перенести свои сегодняшние представления о людях на недавнее или далекое прошлое. Но и тому историку, который счастливым образом избежал хотя бы части этих опасностей, грозит подчас общественное осуждение за то, что он не оправдал ожиданий, нашел не ту истину, которую хотели от него получить. "*История и истина – не одно и то же. Начала – вместе, окончания – врозь*", – пишет Олжас Сулейменов. Должно быть, добиться полного совпадения этих двух понятий – несбыточно. И в этом главная опасность для историка. Но каждый честный историк стремится к тому, чтобы понятия эти стали друг к другу как можно ближе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Историки и писатели о литературе и истории // Вопросы истории. 1988. № 6. С. 33.
2. Герцен А. И. Былое и думы. Л., 1947. С. 108.
3. Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986. С. 6.
4. Там же. С. 7.
5. Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 349.
6. Там же. С. 259.
7. Тихомиров М. Н. Российское государство XV-XVII веков. М., 1973. С. 306.
8. Ключевский В. О. Соч. М., 1958. Т. 4. С. 266.
9. Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1950. С. 352.
10. Там же. С. 71-72.
11. Сталин И. В. Соч. М., 1951. Т. 13. С. 38-39.
12. Цит. по: Валк С. Н. Иван Иванович Смирнов // Крестьянство и классовая борьба в феодальной России: Сб. статей памяти Ивана Ивановича Смирнова. Л., 1967. С. 9.
13. Там же. С. 11.
14. Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке. М., 1932. С. 216.

15. *Пионтковский С. А.* Великоорусская буржуазная историография последнего десятилетия // Историк-марксист. 1930. Т. 18/19. С. 160.
16. *Покровский М. Н.* Историческая наука и борьба классов. М.: Л., 1933. С. 331.
17. *Быковский С. Н.* Какие цели преследуются некоторыми археологическими исследованиями // Сообщения Гос. академии истории материальной культуры: Проблемы истории материальной культуры. 1931. № 4/5. С. 21.
18. Резолюции, принятые на общем собрании Общества историков-марксистов от 19/III-30 г. // Историк-марксист. 1930. Т. 15. С. 165.
19. *Покровский М. Н.* О задачах марксистской исторической науки в реконструктивный период // Историк-марксист. 1931. Т. 21. С. 3-4.
20. *Покровский М. Н.* Очередные задачи историков-марксистов // Историк-марксист. 1930. Т. 16. С. 18-19.
21. Историк-марксист. 1931. Т. 21. С. 115-118.
22. *Покровский М. Н.* Русская история в самом сжатом очерке. С. 99, 249.
23. *Покровский М. Н.* Избранные произведения. М.. 1965. Кн. 2. С. 222.
24. Цит. по: Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955. Т. 1. С. 318-319.
25. Все постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР по вопросам истории и ее преподавания, а также "Замечания" Сталина, Кирова и Жданова цитируются здесь и далее по сборнику.: К изучению истории. М., 1946.
26. *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956. Т. 4. С. 514; Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1940. Т. 4. Стлб. 1000.
27. Против исторической концепции М. Н. Покровского. М.. Л., 1939. С. 3, 5.
28. *Покровский М. Н.* Историческая наука и борьба классов. С. 307.
29. *Панкратова А. М.* Развитие исторических взглядов М. Н. Покровского // Против исторической концепции М. Н. Покровского. С. 6, 35, 36, 38, 41, 57-59.
30. *Нечкина М. В.* 1) Крестьянские восстания Разина и Пугачева в концепции М. Н. Покровского // Против исторической концепции М. Н. Покровского. С. 244-275. 2) Восстание декабристов в концепции М. Н. Покровского // Там же. С. 303-336.
31. *Греков Б.Д.* Киевская Русь и проблема происхождения русского феодализма у М. Н. Покровского // Против исторической концепции М. Н. Покровского. С. 116.
32. См.: *Энтин Дж.* Спор о М. Н. Покровском продолжается // Вопросы истории. 1989. № 5. С. 154-159.
33. Очерки истории СССР. Период феодализма: IX-XV вв. / В 2-х ч. М.. 1953. Ч. 1. С. 766.
34. *Сталин И. В.* О Великой Отечественной войне Советского Союза. С. 51, 71-72.
35. См.: *Багиров М. Д.* К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля // Большевик. 1950. № 13. С. 21-37.
36. Вопросы истории. 1949. № 2. С. 151-158.
37. История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков): Краткий курс. М., 1953. С. 116.
38. *Веселовский С. Б.* Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 97.
39. Правда. 1946. 11 сент.
40. См.: *Дорош Е. Я.* Книга о грозном царе // Новый мир. 1964. № 4. С. 260-263, *Дубровский С. М.* Еще раз о "великом государе": Новые труды об опричнине // Знамя. 1965. № 1. С. 21 1-216; *Strada V.* Mito e realta di Ivan il Terribile//Rinascita, 1964. 14 nov. P. 23-24.

41. См.: *Смирнов И. И.* С позиций буржуазной историографии // Вопросы истории. 1948. № 10. С. 13-124; *Кротов А.* Примиренчество и самоуспокоенность // Литературная газета. 1948. 8 сент.
42. Обсуждение одной концепции о времени создания "Слова о полку Игореве" // Вопросы истории. 1964. №9. С. 121-140.
43. См.: *Паушто В. Т.* По поводу книги И. Я. Фроянова "Киевская Русь. Очерки социально-политической истории" // Вопросы истории. 1982. № 9. С. 174-178; *Лимонов Ю. А.* Об одном опыте освещения истории Киевской Руси: Летописи и исторические построения в книге И. Я. Фроянова // История СССР. 1982. № 5. С. 173-178; *Свердлов М. Б., Шапов Я. Н.* Последствия неверного подхода к важной теме // Там же. С. 178-186.
44. См.: *Новосельцев А. П.* Источник – основа работы историка; *Назаров В. Д.* Хранить и развивать лучшие традиции исторической науки ("Круглый стол") // Вопросы истории. 1988. № 3. С. 29-30, 48.
45. Полное собрание русских летописей. М., 1962. Т. 2. Стлб. 339-340.
46. См.: Повесть временных лет. М., 1950. Т. 1. С. 12-16.
47. XVIII съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). 10-21 марта 1939 г.: Стенографический отчет. М., 1939. С. 8, 30, 267, 275- 276, 282, 521-522, 529, 556.
48. *Крачковский И. Ю.* Избранные сочинения М. -Л, 1950. Т. 1. С. 74.
49. Неделя "Вестника знания". 1911. № 7. С. 8-9; № 1. С. 13-14.
50. *Кузьмин А. Г.:* 1) К вопросу о происхождении варяжской легенды // Новое о прошлом нашей страны. М., 1967. С. 53; 2) "Варяги" и "Русь" на Балтийском море. // Вопросы истории. 1970. № 10. С. 30.
51. *Рубин В.* Дневники. Письма. Иерусалим, 1989. Т. 1. С. 88.
52. *Черненко К. У.* Актуальные вопросы идеологической массово-политической работы партии // Справочник партийного работника. М., 1984. Вып. 24: 1984. Ч. 1. С. 30.